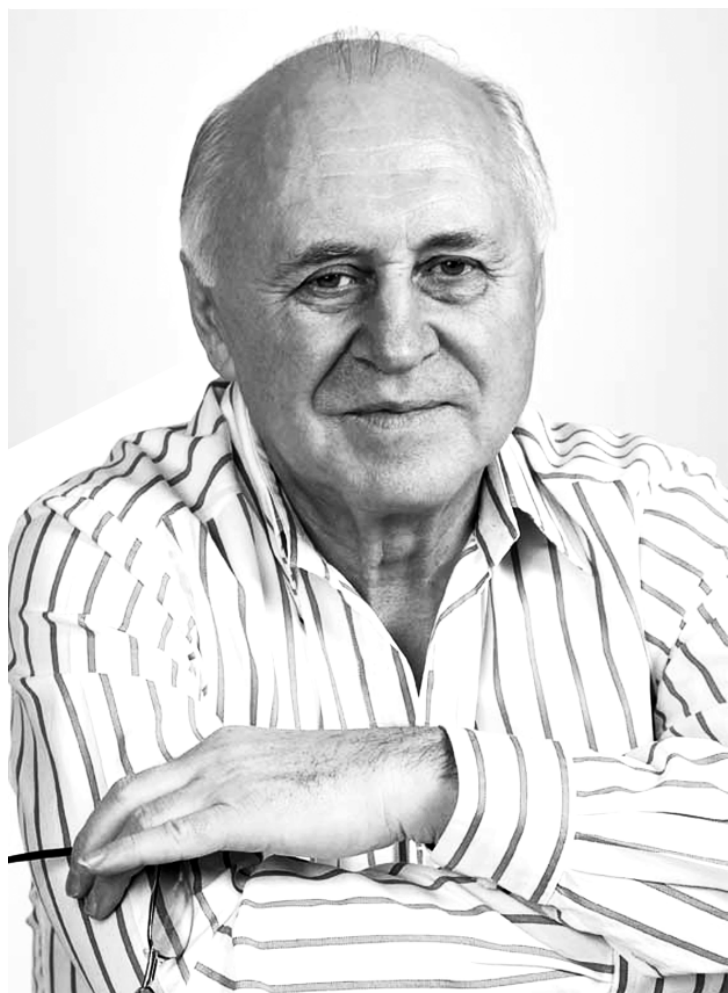


*Памяти мамы моей
посвящаю*



И. М. Ильинский

ЖИВУ И ПОМНЮ

Документальная повесть

Москва
2014

Книга издана в рамках проекта «Демифологизация истории России», осуществляемого АНО «Центр образовательных технологий» при поддержке Общероссийской общественной организации Общество «Знание» России (по итогам открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям, проведённого в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 29 марта 2013 года №115-рп «Об обеспечении в 2013 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов гражданского общества»).

Художник Алексей Томилин

Ильинский, И. М.

И46 Живу и помню : документальная повесть / Игорь Ильинский. — М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2014. — 232 с.

ISBN 978-5-98079-931-1

Книга И. М. Ильинского — суровое повествование жителя блокадного Ленинграда, на детские годы которого выпали 323 самых страшных дня фашистской осады города — с 8 сентября 1941 года по 23 июля 1942 года. Бесперывные бомбёжки и артобстрелы, убийственный голод и небывалые для Северной столицы тридцати-сорокаградусные морозы, жизнь без тепла, воды и электричества... — Что это было, если не земной ад?

Автор рассказывает об эвакуации их блокадной семьи в далёкую таёжную деревеньку Петушиху Новосибирской области, о многолетних мытарствах семейства в жёстких, непривычных для городского жителя условиях старообрядческих нравов и деревенского быта.

Документальная повесть эта — напоминание забывчивым сердцам нынешних поколений о немислимой по своим масштабам Жертве, которую принесли на алтарь Великой Победы над фашистской Германией ради Жизни на Земле их деды и прадеды.

ББК 84(2Рос=Рус)6

ЖИВУ И ПОМНЮ





ПРОЛОГ

На крыльях Времени уносится всё: счастье и горе, радость и печаль, прекрасное и ужасное...

Чем дальше ухожу я по жизненному пути, тем чаще оглядываюсь назад, всматриваюсь в былое, и кажется мне иногда, будто всё, что случилось со мною, — война, блокадный Ленинград, эвакуация, путь в Сибирь, жизнь в глухой таёжной деревушке Петушихе — было давным-давно, да и было не со мной, а с кем-то другим.

А порою мнится мне, что оно совсем рядом, моё былое, руку протяну — и дотронусь до него. А ведь минули уже десятки лет!..

Все времена — Прошрое, Настоящее, Будущее — одно Время. Три ипостаси эти — всего лишь людская выдумка, помогающая человеку не заблудиться в просторах вечности...

Война

Когда началась война, семья наша из пяти человек — папа, мама, старший брат Олег, младшая сестра Ирина и я — жила в Ленинграде, на Петроградской стороне, в доме номер девятнадцать по улице профессора Попова, бывшей Песчаной, переименованной в честь всемирно известного русского изобретателя радио. Наш двухэтажный деревянный дом стоял в небольшом придорожном сквере, поодаль от двухполосной дороги между Большой и Малой Невкой. Напротив, через эту самую дорогу, находился Ботанический сад, высились красивые каменные здания.

Жили мы в двухкомнатной квартире, с кухней и, как говорили в те времена, со «всеми удобствами». Слева и справа от нашего дома стояли ещё несколько таких же домов с такими же, точь-в-точь как наша, квартирами.

Мне в июне исполнилось семь лет, сестре Ирине в мае — три года, брату Олегу шёл шестнадцатый, маме было тридцать пять лет, папе — тридцать два года.

Папа работал на заводе, возвращался домой вечерами усталый, но всегда весёлый, с чем-нибудь вкусненьким в авоське. Мама занималась домашним хозяйством, Олег учился в школе.

Жили мы небедно-небогато: есть крыша над головой, сыты, обуты-одеты. Соседи по дому были улыбчивы и приветливы, навевывались друг к другу в гости. Летом, в хорошую погоду, старики и матери с детскими колясками выходили в сквер, рассаживались по скамейкам и часами судачили о чём-то, нам, малолеткам, непонятном... У нас были свои заботы, свои разговоры. Звенели детские голоса, в кустах щебетали птицы... Жить бы да жить!..

Вдруг что-то изменилось в поведении взрослых: они реже стали смеяться, о чём-то озабоченно говорили между собой, произнося часто слово «война».

В свои малые годы я уже знал, что «война» — это когда мальчишки и девчонки нашего двора, поделившись на «красных» и «белых», с криками «ура!» скакали на палках навстречу друг другу и бились разными деревянными штукovinaми, которые назывались «саблями». Малышня до седьмого пота носилась за нами. Иногда по нечаянности кому-то из вояк «саблей» попадало по руке, а то и по голове. Рёв, слёзы. «Война» приостанавливалась, а то и прекращалась: бить по телу не разрешалось — нарушение правил. Начинался галдёж по поводу того, кто победил — «красные» или «белые»...

Папа, мама и Олег тоже начали говорить о войне. Папа стал возвращаться с работы не вечером, как обычно, а поздно ночью, а вскоре и вовсе приходил, может, раз в неделю, и то совсем ненадолго. Олег тоже приходил домой не каждый день... На мои «почему?» мама отвечала одним словом: война...

До поры до времени война в моём представлении никак не связывалась с жизнью взрослых людей, оставалась азартной детской игрой. О том, что папу назначили начальником цеха на Металлическом заводе имени И. В. Сталина, где делали какое-то оружие, и он теперь из-за войны работает в три смены, живёт и ночует в своём кабинете; что Олег из-за войны бросил школу и учится в ремесленном училище при том же Металлическом заводе да ещё работает на токарном станке, ночуя в общежитии, я знал, только перемены эти, резко нарушившие наш привычный образ жизни, никак не хотели укладываться в моей голове. И потому я каждый вечер приставал к маме с одним и тем же вопросом:

— Где папа? Где Олег?

Однажды, выйдя из себя, она накричала на меня:

— Сколько раз объяснять тебе: война!..

Словно сговорившись, все родители из соседских домов запретили своим детям играть в войну. Моя мама тоже ска-

зала: «Это не игра, сынок. Это... война!» И опять пригорюнилась, словно предчувствуя что-то страшное.

Родители не позволяли детям выходить без их разрешения даже во двор. Жизнь моя стала тусклой и унылой, текла в одном и том же замкнутом круге: завтрак, обед, ужин, сон, завтрак... Как-то незаметно переставали существовать утро, день, вечер. Они всё теснее сливались в поток сплошной тьмы и скуки, а завтраки, обеды и ужины день ото дня становились всё бедней...

— Мама, хочу колбасы!.. — ныл я. — Чай не сладкий!

— Колбасы нет, сахару тоже. Война... — отвечала мама.

Однажды, выглянув на минутку во двор, я заметил, что всюду, куда ни глянь, высоко в небе над городом повисло множество длинных «колбасин».

— Что это такое? — удивлённо спросил я маму.

— Это заградительные аэростаты... чтобы самолёты не смогли разбомбить наш дом, — ответила мама.

— Какие самолёты? — испугался я.

— Немецкие, фашистские... — сказала мама. — Ленинград скоро начнут бомбить...

Во дворе нашего дома появились красноармейцы с пушкой и огромной лампой, длинный луч которой ночами шарил по небу...

— Что это, мама? — удивился я.

— Это зенитный пулемёт, чтобы сбивать самолёты. А рядом — прожектор, чтобы находить самолёты в темноте... — ответила мама.

В один из дней мама стала наклеивать на стёкла окон наших комнат широкие полосы, которые она нарезала из газет, а мы с Ириной помогали ей как могли. Потом занавесила окна чёрной бумагой. В квартире стало темным-темно, хоть глаз коли.

— Зачем это, мама? — спросил я, когда она подняла занавески.

— Чтобы лётчик не видел, куда бросить бомбу, — ответила мама.

И вот начались бомбёжки... Из чёрной тарелки радиопродуктора, висевшей на стене большой комнаты, всё чаще хрипел мужской голос: «Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!..» И уже от этого голоса по спине бежали мурашки. Мама тут же срывалась с места, хватала за руки меня с Ириной, и мы как угорелые неслись в подвал каменного дома напротив, где ещё недавно работал продуктовый магазин, — в бомбоубежище.

На улице громко, до боли в ушах выла сирена, а поверх её рёва из репродуктора на столбе гromыхал всё тот же мужской голос: «Воздушная тревога!.. Воздушная тревога!..»

Не поспевая за нами, Ирина то и дело спотыкалась, падала, редела от страха, мама подхватывала её на руки, но через несколько шагов останавливалась, хватаясь за сердце. Наконец, мы втискивались в подвал, забитый людьми. Крики, детский плач...

А где-то далеко и высоко в небе, сначала едва уловимый слухом, возникал ноющий, сверлящий голову звук: «у-у, у-у, у-у»... Он приближался, становился всё громче, громче... Вдруг это нытьё сменяли иные, приглушённые расстоянием и стенами бомбоубежищ звуки, которые вскоре все от мала до велика научились разгадывать: это пикирует «мессершмитт», это — свист летящей к земле бомбы, а это бьют наши зенитки... Было слышно, как «татакает» в нашем дворе зенитный пулемёт, а где-то вдалеке — ухают взрывы...

Невольно вжимая головы в плечи, люди с тревогой смотрели вверх, в потолок. Авианалёты случались всё чаще, мы сидели в бомбоубежище всё дольше, иногда по несколько часов кряду. Но ничего страшного не происходило. Пока однажды рядом с бомбоубежищем не грохнуло так сильно, что с потолка на головы сидевших в нём посыпалась штукатурка. Выйдя из подвала после отбоя воздушной трево-

ги, мы узнали, что это взорвался наш сбитый истребитель, рухнувший на одно из зданий Ботанического сада. Здание горело, пламя поднималось столбом высоко-высоко... Место взрыва было оцеплено красноармейцами. Работали пожарники, санитары несли на носилках убитых и раненых...

Именно в тот день слово «война» впервые наполнилось в моём детском умишке своим ужасным содержанием.

Сколько времени (недель? месяцев?) просидел я в удушливых, набитых людьми, как селёдки в бочке, подвалах, где пахло мочой и испражнениями, где часами плакали дети и женщины, не знаю. Но чем дольше продолжалась игра в прятки со Смертью, тем яснее становилось всем, и даже таким мальчикам, как я, что игра эта бессмысленна: наша жизнь в руках случая.

Собственными глазами я видел однажды, как немецкая бомба проколола крышу каменного здания невдалеке от нашего бомбоубежища, как в небо вместе с языками пламени и клубами чёрного дыма взлетели груды кирпича, обломки домашней утвари бывших квартир и части тел их бывших жильцов...

Судя по тому как мама, прижав руки к груди, по нескольку раз в день твердила одно и то же слово: «Ужас!..», новости такого рода о немецких бомбардировках следовали одна за другой.

— Мама, — спросил я как-то, — когда закончится этот «ужас»?

— Откуда ж мне знать, сынок? — сказала мама. — Немцы уже обстреливают город из пушек, значит, они совсем близко.

...Не только моя мама, никто в Советском Союзе, даже сам Сталин, в тот момент не знали, когда и чем завершится война. Этого не знал и Гитлер, думавший закончить «молниеносную войну» за пять-шесть месяцев, к осени 1941 года.

8 сентября 1941 года фашистские войска намертво замкнули кольцо вокруг Ленинграда, а значит, взяли в окру-

жение и защищавшую его армию. Город с его жителями и войска были полностью отрезаны от страны по суше. Снабжение населения и армии могло осуществляться теперь только по воздуху, самолётами, или через Ладожское озеро: летом, весной и осенью — по воде, зимой — по льду. С жестокими боями и большими потерями.

Такое положение осаждённого города на военном языке называется блокадой — самой опасной из всех возможных ситуаций. Обычное её разрешение — капитуляция или полный разгром.

...Долгие годы блокада жила в моей детской и юношеской памяти сплошным потоком непроходящего чувства голода, мертвящих ощущений нежданно нагрянувших свирепых морозов, ледящего всё моё тело страха и ужаса от свиста летящих снарядов и бомб, грохота их разрывов и визга осколков на фоне жуткого воя сирены воздушной тревоги и мужского голоса из репродуктора, объявлявшего час за часом, день за днём, месяц за месяцем то эту самую «тревогу», то её «отбой»...

Множество разного рода блокадных картин годами стояли перед моими глазами будто живые.

Я вырослел... Постепенно эти картины блекли, туманились и исчезали одна за другой, превращаясь с годами в сплошной тревожный мираж, откуда и поныне среди суеты сует приходят ко мне иногда то необъяснимо-печальные мысли, то беспричинно-дикий сны, страшные сны, которые, проснувшись, я никак не могу ни воспроизвести, ни истолковать, как ни стараюсь. А те сцены, что помню, надо думать, сильнее всего ударили тогда по моим ещё оголённым, не затвердевшим эмоциям, так остро чувственно пережиты мною, что запали в душу глубже остальных. Их немного уже осталось, с десяток — не более, они тлеют ещё в костре моей памяти чёрно-белыми фотографиями...

Блокадные картинки детской памяти

Помню... Когда начался голод, мама, Ирина и я, как и все вокруг, стали быстро худеть, терять вес и силы и уже не бегали, а едва дотаскивали ноги до бомбоубежища, хотя находилось оно совсем недалеко. А после того как мама слегла от истощения и болезни сердца, а папа устроил Ирину в ясли-интернат, я перестал ходить в бомбоубежище: это не имело никакого смысла — не успеешь дойти до убежища прежде, чем начинается авианалёт или артобстрел. Я возвращался со двора домой, ложился в кровать к маме, и мы, прижавшись друг к другу, обречённо ждали конца страшной какофонии звуков, доносившихся с улицы...

Однажды днём, во время авиационного налёта я зашёл в большую комнату, где мы уже не жили. Здесь было холодно и пусто — всё, что могло гореть (шкаф, стол, стулья, диван, книги), было спалено в буржуйке, едва-едва обогревавшей нашу с мамой маленькую комнату. Я задержался у окна (мы жили на втором этаже), наблюдая, как люди плетутся в бомбоубежище, как оно, словно огромное животное, заглатывает их одного за другим... Всё было как всегда: была сирена, гремел репродуктор, «татакал» во дворе зенитный пулемёт... Послышался гул немецких самолётов, разрывы бомб, а я продолжал смотреть в окно, и мне почему-то не было страшно.

И вдруг... я не верил своим глазам: огромный красавец-дом, подвал которого только что заполнили сотни людей, начал оседать этаж за этажом всё ниже, ниже, и вот уже стена, на которую я смотрел, стала валиться на дорогу, а ввысь и во все стороны полетели груды камней, клубы пыли и огня...

— Мама! — завизжал я отчаянно и кинулся к ней. — Мама, они разбомбили наше убежище!.. Дом упал, дом горит!..

Мама закричала, рванулась с подушки, забыв, что не может встать, и тут же обмякла.

— Боже мой!.. Ты здесь... Я вдруг подумала... Как хорошо, что мы перестали там прятаться...

В тот день погибли многие жильцы нашего и соседних домов и почти все мои друзья, мальчишки и девчонки. В живых остались те, кто, как и мы с мамой, уже не искали спасения...

Помню... 31 декабря 1941 года папу отпустили с завода — встретить с семьёй Новый год.

В тот вечер воздушную тревогу объявляли несколько раз. Едва мы сели за праздничный стол с сэкономленными папой продуктами, как снова завывла сирена, и из репродуктора раздался повелительный голос диктора: «Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!..» Но ещё до этого момента папа сказал:

— Если «тревога», остаёмся дома. Бежать нам некуда. Будь что будет.

Через несколько минут во дворе заработал зенитный пулемёт. И тут же ахнула бомба. Пулемёт умолк. Наш деревянный домик подпрыгнул вместе со всем, что находилось в нём, но устоял, не рассыпался... Взрывная волна выбила стёкла затемнённого окна нашей комнаты, в неё влетели комья земли, осколки стекла, хлынул едкий дым и холод. Нас разбросало по комнате, все поушиблись, но, слава Богу, были живы, никого не ранило... Стол, за которым мы сидели, перевернулся.

И когда в темноте папа кое-как, на ощупь снова заделал окно чёрной бумагой, занавесив его для верности еще и одеялом, когда снова зажёл коптилку, и мы, ползая на коленях, в полутьме отобрали из мусора ломтики хлеба и дуранды (подсолнечного жмыха), когда стол снова накрыли скатертью, а разбитые тарелки заменили на целые и в них уже лежала перепачканная в земле еда, когда мы начали рассаживаться за придвинутым к маминой постели столом, Олег вдруг сказал:

— Посмотрите, что я нашёл в мусоре...

И развернул полотенце. Это была окровавленная кисть мужской руки...

Меня стало тошнить, но желудок был пуст. Спазмы следовали один за другим, меня выворачивало наизнанку, было очень больно...

— Это надо похоронить... Завтра, — сказал папа.

А Новый, 1942 год всё-таки наступил. И было первое утро нового года... Папа, Олег и я вышли во двор. На месте, где стоял зенитный пулемёт, зияла огромная воронка. Прямое попадание. В соседних домах тоже повывлетали окна, были раненые...

Кисть руки убитого зенитчика мы похоронили в воронке от бомбы.

Помню... В одной из квартир нашего дома на первом этаже санитары обнаружили мёртвыми её жильцов — мужа, жену и их сына Костю, мальчика моего возраста, с которым мы прежде играли во дворе. Их закоченелые трупы после этого лежали в квартире ещё очень долго...

Мы знали об этом, и было жутко понимать, что внизу, под нашим полом — мертвецы. Выходя на улицу, я всякий раз собирался с духом, чтобы поскорее пройти мимо двери этой квартиры.

Однажды, преодолевая страх, я всё же решился заглянуть в неё. Вошёл в большую комнату — пусто. Открыл дверь в спальню и пристыл к полу от ужаса... На кровати лежали Костя и его мама, на полу — Костин отец, а на его трупе сидела большая крыса. Я хотел бежать и не мог. Наконец вышел из квартиры и направился почему-то не домой, а во двор, к чугунной ограде, к выходу на улицу профессора Попова.

И снова онемел от страха: там, на свежем белом снегу, вся в розовом, лежала мёртвая девочка. Я узнал её — это была Настя из соседнего дома. Встретившись мне несколько дней назад, она сказала: «Мама умея... А Геня убегал...»

У меня закружилась голова... И в этот момент из репродуктора на столбе загрохотало: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!..»

Помню... Видя, как я худею день ото дня, мама разволновалась как никогда:

— Надо что-то делать!.. Я пожалуйсь папе!.. Ты почему не гуляешь? — вдруг принялась она ругать меня. — Надо дышать свежим воздухом, надо двигаться!..

Двигаться мне совсем не хотелось, но мама велела... Я укутывался во всю оставшуюся тёплую одежду, выходил на мороз, шёл к воротам нашего двора и, прислонившись к калитке, наблюдал происходившее на улице профессора Попова. Она была почти безжизненна. Руины дома с бывшим бомбоубежищем, развалины соседнего с ним здания. Изредка проезжали машины. Красноармейцы на верёвках несли «колбасу» — аэростат. В сторону Большой Невки с вёдрами, кастрюлями, чайниками брели за водой люди, хотя вернее сказать, мимо проплывали человеческие тени... Везли — кто на детских саночках, кто в колясках, кто просто тащил волоком завёрнутые в простыни или одеяла трупы умерших... Иногда проезжал грузовик с наваленными как попало, даже неприкрытыми мертвецами...

Как-то раз я всё так же стоял у ворот. Вдалеке появился человек с детскими саночками, на которых лежало что-то завернутое в белую простыню. Я понимал — это труп... Напротив меня человек остановился и, кажется, что-то хотел сказать мне, но вдруг пошатнулся, опёрся на остатки стены разбомбленного дома, сполз на землю, на корточки, стал цепляться за кирпичи, чтобы подняться, но не смог, повалился набок, рядом с саночками, затих и больше не шевельнулся... Ужас охватил меня, но я стоял как вкопанный и смотрел, смотрел...

В тот день шёл сильный снег. Он быстро засыпал мертвецов, и не видевшему этой сцены было трудно догадаться

сразу, что за холмик образовался вдруг на тротуаре улицы профессора Попова...

Теперь знаю: я видел рядовую смерть. В ту блокадную зиму в Ленинграде неожиданно и в самых неподходящих местах ежедневно умирали по три-четыре тысячи человек...

Помню... Наша «очаговая» группа смиренно сидит за обеденным столом, молчаливая, безулыбчивая. И все мы как один жадными глазами смотрим на лежащий перед каждым кусочек чёрного как смоль хлеба, дрожащими ноздрями вдыхаем дразнящий аромат подсолнечного масла, жёлтым пятном искрящегося на донышке белого блюда, ждём команды воспитательницы: «Можно кушать. Масло не надо слизывать с блюда, а хлеб съедать сразу. Надо сначала макать хлеб в масло, потом откусывать его понемножку и долго жевать — так быстрее придёт чувство сытости».

Вдруг воет сирена. Звучит команда: «Дети, в бомбоубежище!..» Все уходят, а я прячусь под стол, потом вылезаю из-под скатерти, хватаю свой и ещё чей-то кусочек хлеба и — на улицу, домой, к маме!..

Высоко над моей головой воют снаряды и, кажется мне, все летят в ту сторону, куда я иду, — в наш дом на улице профессора Попова, где одна-одинёшенька лежит и не может встать с кровати моя больная мама. «Мама, мамочка! — кричу я. — Мамочка, я уже близко, я несу тебе хлеба! Хлеба! Мамочка!..»

— У тебя есть хлеб?! — слышу я голос неожиданно вынырнувшего откуда-то навстречу мне человека.

— Есть! — гордо отвечаю я.

— Покажи!

— Вот! — я разжимаю ладошку. — Вот!

Человек выхватывает у меня моё сокровище, проглатывает его и уходит.

— Помогите! Помогите! — крутятся волчком на месте, кричу я, обращаясь к домам и улицам, но они пусты, и никто не спешит на помощь маленькому человечку в его безу-

тешной беде... Мальчик шёл домой, мальчик нёс маме хлеб, а у мальчика этот хлеб отобрали...

Я брёл и горько плакал от страха и обиды на весь белый свет, дрожал от холода, позабыв в страстном порыве своей безрассудной детской душонки, что на улице февраль и лютый мороз.

А на земле громыхало и ухало порой так близко, что на меня сыпались мелкие камешки и ледышки.

Мама лежала в кровати. За время, что мы не виделись, мама сильно изменилась: глаза её провалились ещё глубже, а красивое лицо стало совсем маленьким. В неухоженных волосах — седые пряди.

Рядом с мамой на газете лежали два кусочка хлеба — две трети от 125 граммов суточного пайка.

Увидев меня, мама ахнула от неожиданности. Я уткнулся ей в ноги и, плача, рассказал о случившемся.

— Мама, я хотел, чтобы ты скорее поправилась, а он отнял...

Мы оба плакали, мама ругала меня:

— Возвращайся в «очаг»! И никогда не приходи ко мне, слышишь?! Я поправлюсь, поправлюсь!.. Я сама приду за тобой. Ты хочешь кушать?.. На, ешь... — И мама протянула мне кусочек хлеба.

Я быстро съел его, и лишь с последним глотком понял, что это был мамин обед.

И опять плакал — от обиды на себя.

— Зачем ты это сделала, мама?

— Я покушала, сыночка... Да, да, — сказала мама спокойным голосом. — Одевайся и отправляйся в «очаг».

И вдруг зарыдала.

— Не приходи больше домой, слышишь?! Я... сама... когда поправлюсь.

И слабой рукой подтолкнула меня в сторону двери...

...Блокадные картинки мною виданного и пережитого... Я мог бы нарисовать ещё несколько подобных уже изображённым, да только в этом нет особого смысла.

Что́ — страдания отдельного человека? Драма. Что́ — смерть? Трагедия. Это так. Но что же есть тогда страдания и погибель множества людей? Кто-то из великих сказал: статистика. Звучит злодейски. Однако, если вдуматься, то так оно и есть: каждый новый масштаб явления требует нового определения.

Сказать о Ленинградской блокаде, что это просто «драма», просто «трагедия», значит уравнивать единицу с множеством, значит, не сказать о блокаде ничего. Тут нужна целостная, объёмная панорама событий, достоверные факты, обобщающие цифры... Статистика.

Год за годом взрослея, я прочитал о блокаде сотни статей и разного рода книг — научных, художественных и понял главное: среди тысяч языков человечества нет того единственного слова, которым можно было бы выразить и определить происходившее с миллионами людей в блокадном Ленинграде. В мире не было, нет и не будет человека, ум и воображение которого позволили бы ему охватить запредельный масштаб и безмерный трагизм блокады, будь он дважды Данте или трижды Шекспир. Можно гениально описывать ужасы загробного ада. Кто удостоверит подлинность воображаемого?..

Земной ад Ленинградской блокады был чудовищной реальностью, но весь целиком он — невообразим: действительность всегда богаче любой фантазии. Я видел воочию, въяве лишь кое-что...

Ленинградская блокада в цифрах и фактах

Наша семья прожила в блокаде с самого её начала по 23 июля 1942 года — 323 дня.

323 дня... Это был самый ужасный отрезок блокады.

Чтобы ворваться в Ленинград, враг не жалел ни солдат, ни бомб, ни снарядов. Таких жестоких бомбёжек и артобстрелов города, которые пришлось на начальную пору блокады, не было за все её 549 оставшихся дней...

17 сентября артиллерийский обстрел беспрерывно длился 18 часов 33 минуты.

Представьте себе такое: разрывы снарядов то тут, то там... далеко... ближе, ближе... снова далеко... пронесло!.. Взвыли пожарные машины... Значит, где-то рядом огонь и смерть... И — снова далеко, и — снова ближе, ближе... Так — час, другой... десятый... пятнадцатый...

13 октября на Ленинград было сброшено 12 тысяч зажигательных бомб. В разных концах города полыхали огромные костры.

14 октября воздушная тревога объявлялась десять раз. Это значит, что люди, по сути дела, безвылазно находились в бомбоубежищах целые сутки, и единственной мыслью, которая наверняка свербил мозг каждого, был вопрос: «Пронесёт — не пронесёт?..» Иногда, особенно поначалу, к городу прорывались сотни фашистских самолётов...

323 дня... Зимой сорок первого — сорок второго года в Ленинграде случился немыслимый для этих мест мороз — от минус двадцати до сорока градусов по Цельсию. И небывалый снегопад. Холод не щадил никого. Но особенно тяжело приходилось осаждённым.

Иссякли запасы топлива. В жилые дома прекратилась подача электричества. Город погрузился во тьму. Встал трамвай. Ленинградцы замерзали в неотопливаемых квартирах. Спали не раздеваясь, навалив на себя всё, что могло сохранить теплоту тела. Месяцами. Наладили производ-

ство буржеек. Топили мебелью, паркетом, книгами, тряпьем, старой обувью, матрацами, всем, что может гореть. Деревья, кустарники, деревянную обшивку домов, беседки в скверах поглотили буржуйки... В январе перестала работать последняя водонапорная станция. Вышла из строя канализация...

323 дня... Это были самые голодные месяцы из 872 дней блокады. С самого её начала в Ленинграде были введены продовольственные карточки: с повышенными нормами — для работающих, с пониженными — для иждивенцев и детей. Нормы эти день ото дня уменьшались.

Уже в середине сентября из продовольственного рациона исчезли крупа, мясо, масло, жиры. Единственной пищей стал хлеб. 1 октября 1941 года хлебный паёк для работающих снизили до 400 граммов в день, для иждивенцев и детей — до 200 граммов. С 20 ноября (пятое снижение) работающие получали по 250 граммов хлеба в день, все остальные — иждивенцы, и в том числе дети, — по 125 граммов.

Что такое 125 граммов? Взвесьте такой кусочек хлеба, разрежьте на три части, положите на стол — и поймите: это ваш завтрак, ваш обед и ваш ужин. Больше ни-че-го... Но и этот «хлеб» нельзя было назвать настоящим хлебом. Муки в нём была самая малость, около двадцати процентов, остальное — пищевые заменители: целлюлоза, хлопковый и льняной жмых (дуранда), технический альбумин. «Хлеб» этот не имел хлебного запаха и вкуса.

Бывали дни, когда бомбёжки и артобстрелы срывали работу хлебозаводов. Тогда булочные не открывались. Иногда день, два, три... И матери возвращались к детям с пустыми руками. В такие дни «иждивенцы» не ели ни-че-го...

...Что это такое — голод? Каждый думает, будто знает ответ: «Голод — это когда очень хочется есть». И всё в таком роде. Верно. Но мало кто пережил ситуацию, когда «есть очень хочется», а еды нет день, два, пять, десять... Есть хочется уже так сильно, что, кажется, сходишь с ума, но ни-

чего нет, почти нечего — месяц, второй, третий... пятый... десятый...

Наука подразделяет голод на три стадии: голод неполный, когда пищи в организм поступает недостаточно по отношению к общему расходу энергии; полный, когда в организм поступает только вода; и голод абсолютный, когда в организм не поступает ни пищи, ни воды. Предельным сроком жизни при неполном голоде считается шестьдесят-семьдесят суток, при абсолютном — несколько дней.

Зимой сорок первого — сорок второго года житель Ленинграда получал в сутки не более 1300 килокалорий. При таком количестве энергии человек мог прожить около тридцати дней. Это был самый голодный период за всё время блокады. Гитлеровцы считали, что через несколько месяцев Ленинград вымрет. И Ленинград вымирал. За десять с половиной месяцев, прожитых нашей семьёй в блокаде, из каждой тысячи ленинградцев только от голода умерли четыреста человек...

Умирали в квартирах, на улицах, в очередях, на ходу, у станков, умирали поодиночке и целыми семьями.

Вот когда-то известный всему миру зимний дневник одиннадцатилетней Тани Савичевой. Свою первую запись Таня сделала 28 декабря 1941 года:

«Женя умерла 28 дек в 12.00 часов утра 1941 г

Бабушка умерла 25 янв в 3 ч. дня 1942 г.

Лёка умер 17 марта в 5 час. утра 1942 г.

Дядя Вася умер 13 апр в 2 ч ночи 1942 г

Дядя Лёша 10 мая в 4 ч дня 1942

Мама в 13 мая в 7.30 час. утра. 1942 г.

Савичевы умерли

Умерли все

Осталась одна Таня»

За 872 дня блокады (в основном за её первую половину) в Ленинграде погибло 632 тысячи человек. Только три про-

цента из них погибли от бомбёжек и артобстрелов; остальные умерли от голода. Эти цифры были названы на Нюрнбергском процессе. Потом они уточнялись в официальных документах в сторону увеличения. В своих «Воспоминаниях и размышлениях» маршал Жуков называет цифру 800 тысяч человек. Исследователи считают её неточной, говорят о миллионе и более погибших.

Кто-то спросит: «Почему же в Ленинграде не вымерло всё население?»

Люди спасались как могли. Варили «студень» из столярного клея. Разрезали на куски и готовили «бульон» из кожаных сапог и туфель. Вываривали кожаные ремни и жевали их. Начались цинга и дистрофия — наладили производство пищевых дрожжей из древесины, витамина «С» из лапок хвои. По весне, когда появилась трава, искали лебеду и крапиву, но этих «деликатесов» было слишком мало, а голодных — слишком много. Другие травы желудок не принимал...

Ленинград не вымер и потому, что власти страны и города не потеряли контроля над ситуацией, делали всё возможное, чтобы доставлять продовольствие в сражающийся Ленинград. Самолётами, с боями и большими потерями, по воде на катерах и по льду на санях и машинах через Ладожское озеро. А когда 18 января 1943 года блокада (с пятой попытки!) была прорвана, голод в его крайних выражениях практически исчез...

В канун блокады, в августе 1941 года, в Ленинграде жили свыше 467 тысяч детей. С 29 июня по 27 августа 1941 года в восточные и юго-восточные районы Ленинградской области из Ленинграда были эвакуированы более 395 тысяч детей. Однако вскоре (по непонятным причинам) 175 400 из них были возвращены обратно в город, который вскоре был блокирован немцами.

С конца июня 1941 года по 31 марта 1943 года из Ленинграда были эвакуированы 1 743 129 человек, в том числе

большинство детей. Но многие всё же остались в городе и умерли в блокаде.

Вероятно, такая судьба ждала бы меня и мою сестру Ирину, если бы папа, когда мама была уже совершенно истощена и не вставала с постели, не устроил Ирину в круглосуточные детские ясли, а в конце февраля и меня в «очаг» — круглосуточный детский сад-интернат. Там детей кормили малость получше, чем обычных «иждивенцев». Во всяком случае, я и Ирина, став ходячими скелетами — кожа да кости, выжили.

Сколько детей-блокадников живы сегодня в России — не знаю. Немного. В бывшем Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге) на 5 миллионов жителей — 131 тысяча, включая тех, кто каким-то чудом появился на свет в те жуткие годы. В Москве на 12 миллионов населения в 2012 году в «Обществе блокадников Ленинграда» числилось 4112 человек. Двумя годами раньше было вдвое больше...

Сегодня чрезвычайно трудно, но всё-таки надо хотя бы частично воспроизвести духовную, психологическую и политическую атмосферу блокадного Ленинграда.

Без всяких исследований можно утверждать: она была крайне сложной и противоречивой.

Из всего прочитанного мною о блокаде можно делать вывод: абсолютно доминирующей была уверенность жителей города в том, что немцы не войдут в Ленинград, а война будет недолгой и победной. В отчёте городской эвакуационной комиссии от 26 апреля 1942 года говорится, что первой и главной особенностью эвакуационного периода ещё задолго до блокады, в конце июня, в июле и первой половине августа 1941 года было «нежелание жителей эвакуироваться из Ленинграда».

Однако после того как немцы блокировали город, под прессом нежданно-негаданно нагрянувших голода и холода, авиабомбёжек и обстрелов настроение населения стало изменяться, хотя основная масса людей и в этой адской

ситуации вела себя стоически, мужественно, геройски. В последние дни войны Геббельс говорил: «Ленинград не пал потому, что все его жители превратили в крепость каждый дом. И то, что смогли сделать жители Ленинграда, смогут сделать и берлинцы». Теперь мы знаем: немцы этого не смогли. Не хватило ни сил, ни духу, ни мужества, ни героизма.

Однако представлять мысли и поступки умирающих от голода, замерзавших ленинградцев только в розовых красках было бы нечестно.

Теперь не секрет, что в блокированном Ленинграде возник новый вид преступлений — людоедство.

Мама рассказывала мне (уже взрослому), что однажды, в конце ноября — начале декабря сорок первого года, когда ещё была на ногах, она пошла на рынок, чтобы выменять на вещи какие-нибудь продукты. Звучит это дико, но такой спекулятивный рынок существовал. За золото, бриллианты, антиквариат здесь можно было получить хлеб, мясные консервы, другую еду.

Не знаю, что такое ценное понесла мама на рынок — жили мы не богато, но она принесла домой кусок холодца (мы говорили «студень»). Когда стала его делить на части, то вдруг увидела ноготь с пальца человеческой руки. Студень она выкинула. И только расспросив знакомых, узнала, что делали этот «студень» из трупного мяса не слишком исхудавших людей. Военных ради этого убивали.

А недавно в руки мне попал журнал «Огонёк», где опубликованы выдержки из рукописного дневника, который вела в блокаде некая Клавдия Наумовна (фамилия неизвестна), работавшая врачом в одном из госпиталей. Дневник случайно нашли на свалке, куда его выбросили внуки во время ремонта бабушкиной квартиры.

22 февраля 1942 года Клавдия Наумовна записала: «Патологоанатом профессор Д. говорит, что печень человека, умершего от истощения, очень невкусна, но, бу-

дучи смешенной с мозгами, она очень вкусна. Откуда он знает???

Он же утверждает, что случаи продажи человеческого мяса участились. Один его друг пригласил его на ужин, угостил на славу на второй день после смерти своей жены...»

Такие же факты я встретил в одной из книг, в которой блокадник вспоминал: «У меня жена жила на проспекте Майорова, так у них в квартире один предлагал котлеты в 1942 году. Откуда мясные котлеты? А он был людоед. Его жена умерла, лежала завёрнутая несколько месяцев, а он с неё мясо срезал и котлеты делал»... 15 ноября мать убила полуторамесячную дочь, чтобы накормить других своих детей. Воистину: измученный голодом не ведает жалости...

Всё это — страшные, ужасные факты. А вот статистика из докладной записки военного прокурора г. Ленинграда А. И. Панфиленко секретарю обкома партии А. А. Кузнецову от 21 февраля 1942 года: «...с начала декабря 1941 года по 15 февраля 1942 года... привлечено к уголовной ответственности за эти виды преступлений (людоедство. — *И. И.*): в декабре 1941 года — 26 человек, в январе 1942 года — 366 человек и за первые 15 дней февраля 1942 года — 494 человека... В ряде убийств с целью поедания человеческого мяса, а также в преступлениях о поедании трупного мяса участвовали целые группы лиц.

Состав лиц, преданных суду: 332 человека (36,5%) — мужчины; 564 человека (63,5%) — женщины. Рабочих — 363 человека (41%), безработных — 202 человека (22,4%), лиц без определённых занятий — 275 человек (31,4%). Коренных жителей Ленинграда — 131 человек (14%). Остальные 755 человек (85,3%) — приезжие из других областей.

Да, от голода некоторые блокадники зверели. И всё же думать, будто блокадный Ленинград превратился в город людоедов, было бы большой ошибкой: даже тысяча человек на два с лишним миллиона жителей — незначительная часть.

Нагрянув врасплох, нахрапом, Смерть косила жатву, ежедневно унося тысячи человеческих жизней. Но ей оказалось не под силу убить в людях то духовное состояние, когда в человеке даже в невыносимых обстоятельствах проявляются его собственно человеческие качества: самоотверженность, самоотречение из любви к другим, ради своей Родины.

Вот три многозначительных факта.

По данным статистики, смертность среди блокадных детей в возрасте до 14 лет была ниже смертности взрослых. Почему? Ведь дети наиболее чувствительны к голоду... Многие из них выжили только благодаря тому, что в каждой семье взрослые спасали в первую очередь своих детей. Последние крохи еды они отдавали малышам. И не только женщины — матери, бабушки. Наш папа, вырываясь домой два-три раза в месяц с завода, всегда приносил маме, Ирине и мне сэкономленную им еду. Так поступали и в других семьях многие, очень многие...

Разве это не удивительно: с 1 января 1942 года, в самую голодную пору блокады, по решению Ленинградского горисполкома стали открываться новые детские дома и ясли. За пять месяцев было создано 85 детских домов, приютивших 30 тысяч детей. Из скудных запасов продовольствия власти выделяли им повышенные фонды.

Теперь известно: погибая от голода, многие жители Ленинграда помогали фронту, жертвуя своими личными сбережениями. Только за два месяца (в сентябре — октябре) сорок первого года ленинградцы сдали в фонд обороны города 62 миллиона рублей, 21 килограмм золота, больше тысячи килограммов серебра, свыше 300 граммов платины.

Чем дольше длилась блокада, тем хуже становилось настроение многих блокадников. Органы НКВД и контрразведки регулярно направляли руководителям города спецдонесения о политических настроениях в Ленинграде и Ле-

нинградской области. Под грифом «Совершенно секретно» эти донесения составили несколько пухлых томов, ныне рассекреченных.

Вот одно из таких спецсообщений из Дела № 10 № 9746 от 6 ноября 1941 года. В нём говорится: «За последнее время в Ленинграде среди рабочих, служащих, инженерно-технической и научной интеллигенции возросли пораженческие настроения.

Значительная часть лиц в своих оценках дальнейших перспектив войны считает, что войну с Германией Советский Союз проиграл и что Красная Армия не в силах организовать отпор врагу, Ленинград и Москва будут сданы.

Неверие в победу Красной Армии объясняют тем, что:

а) — Красная Армия к войне с серьёзным противником не подготовлена и не может противопоставить свою боевую технику немецкой;

б) — Армия деморализована отступлениями и сдачей противнику большой территории и крупных городов...»

Не сумев захватить Ленинград штурмом, немцы решили взять его измором и обманом.

Вместе с бомбами на головы блокадников ежедневно сыпались сотни тысяч листовок. В них говорилось одно и то же.

«Жители Ленинграда!

Слушайте нас, пока не поздно. Ваши управилы призывают вас на защиту Ленинграда. Если вы последуете этому приказу, вы обречёте сами себя на верную гибель.

Германцы за эту войну заняли столицы многих государств. Все большие города, население которых отказалось от бессмысленной защиты, остались целыми, их жителям не было причинено никакого вреда. Например, Париж...

Города же, жители которых, слушаясь преступных советов, решились на укрепление домов и на военную оборону, были уничтожены ураганом немецких бомб и снарядов. Например, Варшава...

Жители Ленинграда, хотите ли и вы погибнуть под развалинами вашего города? Нет! Вам хочется жить. Поэтому не содействуйте сопротивлению и требуйте мирную передачу Ленинграда германским властям.

Германцы не являются врагами народов СССР. Не верьте наглой лжи, которой вас запугивают ваши комиссары. Германцы — народ культурный и уважают мирное население.

Долой войну!»

Таким же, по существу, было содержание листовок, обращённых к командирам и бойцам, защищавшим Ленинград. Заканчивались эти листовки лозунгом: «Да здравствует мир и процветание свободных народов вашей родины!»

Читая эти фарисейские сочинения сегодня, можно только поражаться масштабам лжи геббелевской пропаганды. А тогда, в 1941 году, жители СССР не знали о приказе Гитлера стереть Ленинград и Москву с лица земли, уничтожить всё живое, что в них есть. И трудно судить некоторых блокадников, попавшихся на удочку фашистского обмана: голодному человеку не до глубоких размышлений, голодный человек не слышит голос рассудка... В массе населения появились паникёры, нытики, клеветники, что само по себе естественно, но было крайне опасно для блокированного города.

В Ленинграде распространялись рукописные воззвания. Неизвестные расклеивали их в самом центре города: «Граждане! Требуйте хлеба! Долой власть, от которой мы умираем!» Листовки призывали народ собраться на Дворцовой площади и идти к линии фронта с просьбой к бойцам Красной армии сдать немцам. Назревала угроза голодного бунта.

Надо понимать: пораженческие настроения и антисоветские выступления возникали не только из отчаяния людей перед голодом и холодом. В городе существовали профашистские группы, ждавшие прихода немцев. Они составляли списки коммунистов, комсомольцев, евреев, пи-

сали воззвания к народу. Одна из таких групп называлась ЗИГ-ЗАГ, что расшифровывалось так: «Защита интересов Германии, знамя Адольфа Гитлера».

С первых дней блокады в Ленинграде шли аресты шпионов, диверсантов, парашютистов, мародёров, активных пораженцев и паникёров. Нередко это были жители города, завербованные в своё время немецкой разведкой. Среди них — «факельщики», светом ручных фонариков обозначавшие во время авианалётов объекты для бомбардировки и места, на которые можно было высадить десант.

Масштаб пятой колонны внутри блокированного Ленинграда можно представить по некоторым цифрам из справки начальника НКВД Ленинградской области П. Кубайкина в Городской комитет ВКП(б) «О числе арестованных и осуждённых за время войны с 5 сентября 1941 года до 1 октября 1942 года». В ней сообщалось, что Управлением НКВД арестовано 9574 человека, в том числе 1246 шпионов и диверсантов, засланных немецкой разведкой. Вскрыто и ликвидировано 625 контрреволюционных групп, в том числе 169 — шпионско изменнических, 31 — террористическая, 34 — повстанческих. В числе арестованных 1238 бывших кулаков, торговцев, помещиков, дворян и чиновников; 2070 — рабочих, 2100 — служащих, 559 — интеллигенция.

За тот же период выселено из Ленинграда и пригородных районов 58 210 человек, социально чуждого элемента — 40 231 человек, бывших уголовников — 30 307 человек, а всего — 128 748 человек.

Органами милиции арестовано и предано суду 22 166 человек, в том числе: за бандитизм и разбои — 940 человек, грабежи — 1885 человек, кражи — 11 378 человек, за хищение социалистической собственности — 1553 человека, спекуляцию — 1598 человек. Задержано и передано в прокуратуру города дезертиров и военнослужащих без документов — 10 288 человек.

Всего арестовано и предано суду органами НКВД и органами милиции 31 740 человек. По приговорам военных трибуналов расстреляно 5360 человек.

Наверняка, нынешние либералы и диссидентствующая публика расценят такие действия властей как чересчур жестокие. Я же считаю, что в условиях военного времени они были совершенно необходимы. Ведь почти 32 тысячи арестованных — это по численности две полноценные дивизии. У арестованных были изъяты пулемёты, сотни автоматов, винтовок, пистолетов и ручных гранат.

В этом я не вижу ничего удивительного. Напротив, было бы странно, если б в Ленинграде, где всего двадцать четыре года назад находилась столица царской России, не осталось людей, враждебно относившихся к советской власти.

И не менее странным было бы, если в бывшем Санкт-Петербурге — «колыбели социалистической революции», основная масса жителей не встала на защиту завоеваний этой революции. Всё именно так и происходило.

С первых дней войны райвоенкоматы были забиты людьми, желавшими уйти на фронт добровольно. В конце июня 1941 года началось создание Ленинградской армии народного ополчения, в которую ушли 130 тысяч человек. В Лужскую оперативную группу были переданы три дивизии народного ополчения общей численностью 31 тысяча человек; 227 партизанских отрядов направлены в тыл врага.

Маршал Г. К. Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» пишет, что с июля и до конца 1941 года заводы Ленинграда изготовили более 700 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, свыше 3 тысяч полковых и противотанковых пушек, около 10 тысяч миномётов, свыше 3 миллионов снарядов и мин, более 80 тысяч реактивных снарядов и бомб.

На территории города ленинградцы соорудили более 4100 дотов и дзотов, а в зданиях — 22 тысячи огневых точек, установили на улицах 35 километров баррикад и различных

противотанковых препятствий. Свыше 500 тысяч едва живых ленинградцев ежедневно выходили на строительство оборонительных рубежей.

Блокированный Ленинград стал городом-фронтом, городом-крепостью. Не вдруг, не сразу, но — стал...

Наивно думать, будто блокадники сами по себе разыскивали кто лом, кто лопату, толпами выходили по утрам во дворы домов, по щучьему веленью и своему хотению строились в колонны, шли под дождём и снегом строить оборонительные сооружения. Голодные, замерзающие и испуганные люди не склонны к единению. Неведомо почему, но в критический момент жизни в умах многих людей возникает надежда спастись в одиночку или малой кучкой.

Единению ленинградцев предшествовало вдохновенное Слово, железная Воля тех, кому по служебным обязанностям выпала тяжкая доля организовывать тысячи полуживых людей на защиту города. И это были — умолкните, ненавистники правды! — партийные, комсомольские и советские комитеты и их работники. Этих людей было немного, всего несколько тысяч — на миллионы таких же голодных, таких же смертных, как все. Но их задача состояла в том, чтобы вывести людей из состояния животного страха, вселить в изуверившиеся души надежду на спасение. Где уговором и внушением, где призывом к гражданским обязанностям, где — силой. Но главное — личным примером показать, как надо жить, работать и оставаться человеком в нечеловеческих условиях. Как и все, страдая и умирая от голода и холода, как и все, погибая от бомб и снарядов, они делали своё дело: организовывали и налаживали общую работу.

Да, рыли окопы и траншеи, строили доты и дзоты, стояли у станков сотни тысяч людей — народ. Но ведь партийные, комсомольские, хозяйственные, военные и прочие работники были не что иное, как часть этого народа. Та часть

породы людей того времени, чья жизнь была освещена чувством Долга, кто сознавал внутреннюю мощь своей натуры, вёл народ к спасению и победе.

Нынешние фальсификаторы истории Великой Отечественной войны в целом, Ленинградской блокады и битвы за Ленинград в частности безмерно преувеличивают роль «народа» в победе над гитлеровской Германией и столь же безмерно и бессовестно приуменьшают значение командного состава Красной армии начиная с политруков и работников органов госбезопасности («особистов») вплоть до маршалов и Верховного главнокомандующего И. В. Сталина.

Договариваются до того, будто Сталин две недели не знал, что 8 сентября немцы блокировали Ленинград. Ложь. Уже 9 сентября Сталин вызвал тогда ещё генерал-полковника Жукова из-под Ельни в Кремль и вручил ему записку, адресованную командующему Ленинградским фронтом Ворошилову. В ней говорилось: «Сдайте фронт Жукову и немедленно вылетайте в Москву...». 10 сентября Жуков был в Ленинграде, а 11 сентября Сталин отдал приказ о назначении его командующим Ленинградским фронтом.

На Центральном аэродроме, перед тем как садиться в самолёт, Жуков сказал генералам, которых он отобрал для работы на Ленинградском фронте: «Немецкие войска вышли к Ладожскому озеру и полностью окружили город. На подступах к городу идут очень тяжёлые бои. Сталин сказал мне: «Либо отстоите город, либо погибнете там вместе с армией, третьего пути у вас нет».

Широко известен жесткий сталинский приказ № 227 «Ни шагу назад!», изданный 28 июля 1942 года, когда советские войска терпели поражение в битве за Сталинград. Этим приказом заградительным отрядам предписывалось расстреливать на месте любого, кто самовольно, без приказа оставлял свои позиции. В тот момент прежде непобедимая 6-я немецкая армия насчитывала 270 тысяч человек; ей противостояло 160 тысяч солдат и офицеров Сталин-

градского фронта. Чем закончилась Сталинградская битва, знают все.

Но мало кому известно, что почти на год раньше, когда генерал-фельдмаршал фон Лееб готовил войска для очередного штурма Ленинграда, Жуков 17 сентября 1941 года отдал своим истекающим кровью войскам короткий и жесточайший приказ:

«Военным советам 42-й и 55-й армий.
Боевой приказ войскам Ленинградского фронта 17.9.41
Карта 100 000

1. Учитывая особо важное значение в обороне южной части Ленинграда рубежа Лигово, Кискино, Верх, Койрово, Пулковских высот, района Московская Славянка, Шушурь, Колпино, Военный совет Ленинградского фронта приказывает объявить всему командному, политическому и рядовому составу, обороняющему указанный рубеж, что за оставление без письменного приказа Военного совета фронта и армии указанного рубежа все командиры, политработники и бойцы подлежат немедленному расстрелу.

2. Настоящий приказ командному и политическому составу объявить под расписку. Рядовому составу широко разъяснить.

3. Исполнение приказа донести шифром к 12.00 18.9.41.

Командующий войсками ЛФ
Герой Советского Союза генерал армии ЖУКОВ.

Начальник штаба ЛФ
генерал-лейтенант ХОЗИН.

Член Военного совета ЛФ
секретарь ЦК ВКП(б) ЖДАНОВ.

Член Военного совета ЛФ
дивизионный комиссар КУЗНЕЦОВ»

Соотношение сил перед началом битвы за Ленинград было ещё хуже, чем ситуация под Сталинградом. Противник имел 31 полноценную дивизию, 5300 орудий и миномётов, 440 танков и 1200 самолётов. Общая численность войск — более 800 тысяч человек. В войсках Северного и Северо-Западного фронтов числилось 45 дивизий, но в большинстве из них насчитывалось по 2—3 тысячи человек. На два фронта приходилось 5 тысяч орудий и миномётов, 700 танков и 235 самолётов. Общая численность войск — 540 тысяч человек. В этот момент войны советская техника уступала немецкой по качеству, гитлеровские войска имели уже двухлетний победный опыт ведения боевых действий.

Отсюда прежде всего и берёт начало жестокость приказов Жукова и Сталина. Стоит заметить при этом, что приказы вроде сталинского и жуковского, заградительные отряды, стрелявшие в своих же отступавших бойцов, — не изобретение Сталина и Жукова. Этот приём использовался в войнах разных стран с давних времён. Применялся он и в гитлеровских войсках, причём гораздо раньше, чем на это решились Жуков и Сталин. Жестокость — плод войны. А порою жестокость — мать победы...

Жуков добился того, что его войска выдержали лобовой удар Лееба, а сам неожиданно ударил во фланг войскам генерал-фельдмаршала, да так, что Леебу пришлось снимать часть войск из центра, перебрасывать их на этот фланг, чтобы Жуков не зашёл к нему в тыл. Наступление немцев заглохло. В Ленинград фон Лееб не вошёл. Ни 21 июля, как приказывал ему Гитлер, ни в этот раз, ни в следующий. Не вошёл никто и никогда.

Жукову не удалось прорвать блокаду встречными ударами Ленинградского фронта и 54-й армии под командованием маршала Г. Кулика из-за его нерешительности. Но ситуация на Ленинградском фронте стабилизировалась. Гитлер отказался от мысли овладеть «колыбелью больше-

вистской революции» штурмом, приказал сузить до предела кольцо блокады, уморить ленинградцев голодом и не принимать капитуляции, даже если она будет предложена. Сталин отозвал Жукова, поручив ему командование Резервным фронтом.

...На этом и закончу я своё краткое повествование о блокаде и битве за Ленинград: об этом рассказано так много, что добавить к известному что-нибудь существенное сегодня, когда из жизни ушли почти все, кто воевал на фронте, был взрослым в блокадные годы, уже невозможно даже ещё живым детям войны и детям блокады.

Но есть сторона войны и Ленинградской блокады, очень слабо описанная в литературе: это эвакуация миллионов людей, предприятий и всевозможных ценностей из-под носа у быстро наступавших фашистских войск и (что звучит фантастически!) из железного кольца блокированного немцами Ленинграда.

Эвакуация была ещё одним великим подвигом, совершённым советским народом и верховной властью Советского Союза. С первых, самых тяжёлых месяцев войны с гитлеровской Германией, всего за полгода из западных областей страны, где проживало сорок процентов населения и было сосредоточено более тридцати процентов промышленного потенциала Советского Союза, на Урал, в Сибирь и Казахстан, Узбекистан, Киргизию и другие области было вывезено около 3 тысяч промышленных предприятий и 12 миллионов человек. Именно в этих краях, в далёком тылу, ставшем вторым фронтом, ковалось Оружие Великой Победы.

Уже в 1942 году Советский Союз догнал и превзошёл Германию в производстве танков, самолётов, пушек, стрелкового оружия и боеприпасов. Когда Гитлеру доложили, что Советский Союз производит ежемесячно по 600—700 самолётов и танков, он пришёл в бешенство и не поверил этому.

История человечества и его войн не знает примеров эвакуации людей из осаждённого города, подобного той, которая была осуществлена из блокированного фашистами Ленинграда: за год с небольшим из земного ада воздушным транспортом, по воде и льду Ладожского озера вывезли почти полтора миллиона человек.

Не было бы Эвакуации — не было бы и Великой Победы.

Эвакуация

Эвакуация людей, промышленных предприятий и ценного имущества из Ленинграда началась задолго до его блокады. 27 июня 1941 года ЦК партии и Совет народных комиссаров СССР приняли постановление о вывозе ценностей из Эрмитажа, Русского и других музеев. В этом же документе говорилось о первоочередной эвакуации стариков и женщин с маленькими детьми. Во исполнение воли органов высшей власти 28 июня Верховный совет Северного фронта (разделённого вскоре на два фронта — Ленинградский и Волховский. — *И. И.*) принял постановление № 5 «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества». Ответственным за эвакуацию назначили председателя Ленинградского городского исполнительного комитета Попкова.

И после того как 8 сентября немцы блокировали сухопутное сообщение с Ленинградом, эвакуация (вдумаемся в этот факт!) продолжалась! С середины сентября 1941 года по ноябрь 1942 года военные катера с продуктами и оружием на борту от железнодорожных станций Жихарево, Кобоны, Лаврово, Тихвин и Волховстрой по Ладожскому озеру с тяжелейшими боями прорывались в Ленинград через, казалось, непробиваемое кольцо немецкой осады. В обратную сторону с такими же жестокими боями они везли особо ценный груз — раненых бойцов, женщин, детей, стариков.

Когда воды Ладоги замёрзли, ту же работу вместо катеров стали выполнять гужевой транспорт, колонны грузовиков. С приходом весны лёд истончился. Затонуло 327 грузовиков — каждый десятый!.. 15 апреля 1942 года эвакуацию приостановили.

Но страшные месяцы зимы сорок первого — сорок второго годов не были потеряны зря. Судостроительные заводы Ленинграда построили за это время 31 деревянную, 14 металлических барж 118 катеров.

Когда Ладожское озеро вновь очистилось ото льда, с 27 мая начался очередной, третий этап эвакуации. Эту задачу решала Ладожская военная флотилия. За семь месяцев — с мая по ноябрь 1942 года — из Ленинграда было эвакуировано почти 449 тысяч человек, из них более половины — 228 тысяч — в июле.

В числе этих тысяч четыре человека — наша семья: мама, Ирина, Олег и я. Папа остался в Ленинграде.

Трасса через Ладожское озеро осталась в трагической истории блокады и эвакуации под именем Дорога жизни.

Эвакуация из Ленинграда происходила в самый тяжёлый момент схватки с Гитлером, когда даже Сталин не исключал падения Москвы и более того — проигрыша войны. Когда на счету были не только каждый танк и самолёт, каждый пулёмёт и каждая винтовка, каждый солдат и офицер, но каждый патрон и каждая копейка.

Как расценить этот исторический факт в свете дискуссий о «цене» Победы в Ленинградской битве, об укоренившихся в сознании многих людей стараниями мифологизаторов советской истории представлений о Сталине как безжалостном тиране, не щадившем своего народа? О том, что всё сталинское окружение якобы состояло сплошь из балбесов, самодуров и таких же тиранов, как сам Сталин, лишь поменьше калибром?..

Если бы в руководстве Советского Союза и в самом деле находились люди именно такого сорта, то зачем нужна была

им вся эта огромная по объёму и сложности работа — эвакуация полуживых женщин, детей и стариков?.. Сколько барж и катеров было потоплено немецкими бомбардировщиками на Ладоге? Сколько продовольствия, оружия и боеприпасов легли на дно вместе с 327 затонувшими грузовиками? Сколько солдат, матросов, офицеров и блокадников погибло в этой трагической эпопее? Сколько паровозов и железнодорожных вагонов нужно было иметь, чтобы развезти почти 2 миллиона человек в разные концы огромной страны? Сколько денег стоила эвакуация блокадников? Я встречал цифру в 3 миллиарда рублей, потраченных только на их питание. Огромная по тем временам сумма!

Не проще ли было Сталину, уж если он тиран до мозга костей, заявить: «Ну что ж, товарищи, война есть война, а блокада — это блокада. Из блокады, как учит история войн, для осаждённых есть единственный выход — смерть...» Зачем спасать женщин и детей, если не думаешь о будущем страны? О стариках при такой логике и говорить не стоит...

Почему бы тирану не получить наслаждение от мысли: «Вот какой я великий! Взял да и обрёк на смерть миллионы людей!.. А захотел бы — спас...»

Ведь поджог же император Нерон древний Рим ради сладостного желания видеть прекрасный город пылающим в огне и наблюдать, как мечутся в отчаянии и гибнут с воплями тысячи граждан его империи. А мог бы не поджигать... Но — поджог! Из любви к искусству..

Эвакуационная эпопея в годы войны Советского Союза с фашистской Германией, ленинградская в частности, представляется мне естественным шагом верховной власти по сбережению советского народа. Иного рационального объяснения этому великому акту я не нахожу.

Вывод мой не уляжется в черепных коробках диссидентствующей публики и ультралибералов, не говоря о некоторой стадной части населения России и других стран, даже если эти коробки крепко перетряхнуть. Ибо так уж они

устроены, эти человеки, уж такие у них мозги: в советском прошлом они видят лишь утопистов и недомыслов, мрак и кровь... Мысль моя, восстающая против тирании такого рода мифов, звучит сегодня абсурдно... Так всегда бывает в самом начале переосмысления лжи.

Скажу ещё раз: эвакуация — это подвиг тех, кто организовывал вывоз полуживых стариков, женщин и детей, кто погибал на Дороге жизни ради этих голодных и истощенных людей, изверившихся в радости жизни, психически и психологически травмированных, нередко озлобившихся, озверевших от невыносимых пыток блокады. Так повелевала им поступать идея коллективизма и служения обществу.

Эвакуация — это сложнейшая психологическая и моральная драма в нескольких действиях, с множеством картин и сцен, бесчисленным числом мизансцен.

Блокада — первое и главное действие этой драмы, где живые скелеты, обтянутые странного цвета кожей, потеряв все силы, с неясным от голода, холода и страха сознанием, тупо говорят друг с другом только о еде и смерти. И больше ни о чём... Кто ещё может двигаться — работает.

Переезд из блокадного города в другие места — второе действие драмы «Эвакуация», в котором происходит только смена декораций, но действующие лица (за исключением умерших в пути) всё те же. Скелеты постепенно оживают, становятся всё больше похожими на полноценных людей. Один за другим мало-помалу они обретают способность выйти из эгоистического круга и глубины собственного «я», куда инстинкт выживания загнал древние истины, состоящие в том, что человек для человека — святыня, что люди существуют друг для друга... На путях в неведомые дали, длившихся для многих неделями, люди начинают всё чаще общаться, всё чаще говорить о близких и «других», размышлять о будущей жизни...

Третье действие «Эвакуации» (в варианте моей повести) — многолетняя жизнь сугубо городских людей в та-

ёжной глуши, лишённой едва ли не всех признаков цивилизации. К психологическим и моральным терзаниям тут добавляется конфликт культур и воспитания. Не по собственной воле вброшенные в среду неведомых им языка, обычаев, традиций, всего образа деревенской жизни, блокадники зачастую оказываются в роли чужаков, вынужденных приспособливаться к налаженному ритму и условиям жизни людей, знающих, что где-то там, далеко-далеко от их сёл, идёт война, на которой убивают... Что такое война, сельские люди знают по прошлым дням Гражданской войны и похоронкам с фронта. О блокаде — слышали, но, не испытав на себе ни голода, ни холода, ни бомбёжек и артобстрелов, ни цепкой хватки Смерти, понять, что это такое — блокада, не могут. Блокадники для местных жителей, во всяком случае поначалу, — обуза, «нахлебники», потом — чуть-чуть «свои», но в общем всё-таки «чужаки».

Сколько мытарств пришлось пережить каждой эвакуированной семье, прежде чем она приспособилась к психологии и говору аборигенов, местным условиям быта, освоила неписанные правила новой жизни, — зависело от многих обстоятельств. И у каждой семьи — своя непростая, полная горечи история...

* * *

Моя документальная повесть как раз об этом — о дороге нашей семьи из блокадного Ленинграда в Сибирь, семи годах жизни в таёжной деревне Петушиха Маслянинского района Новосибирской области.

В повести немало персонажей. В абсолютном большинстве — это реальные люди с подлинными именами и фамилиями. Кого-то, возможно, смутят их диалоги: ведь повесть — документальная. Читатель вправе спросить: «Как мог автор десятилетиями держать в памяти сюжеты, фразы,

повороты в разговорах многих людей, а тем более отдельные слова?..»

Разумеется, тут не обошлось без вымысла. Но сюжеты и диалоги эти не выдуманы, правдивы по существу. Диалоги — лишь форма подачи материала, не более, элемент беллетристики, оживляющий массу документального материала.

Я рассказываю о событиях, потрясших некогда моё детское воображение и оставивших глубокие рубцы и раны в моей душе. Как их не помнить? И захочешь забыть — не сможешь.

К тому же историю нашей жизни в блокаде, переправы через Ладожское озеро, дороги в Сибирь и жизни в деревне Петушихе мы множество раз вспоминали с мамой. В подтверждение точности моих впечатлений обычно она говорила: «Да, да — так всё и было...»

А сколько раз я пересказывал мою судьбу военных лет своим друзьям? Не сосчитать. Некоторые сюжеты блокадной и деревенской жизни в разные годы опубликованы мною в журналах и газетах. Иначе говоря, память свою я постоянно освежал. Порою — обогащал...

Вот главы «Школьная учительница» и «Эхо колыванского бунта» из второй части повести «Деревня Петушиха»... Здесь ничего не выдумано: были и учительница Мария Ивановна, был и Василий Иванович («Лал-моти-не надо»); был их в ту пору скудный рассказ о крестьянском бунте; было убийство Василия Ивановича; был старик Агафоныч с его сыновьями. Тут всё — чистая правда...

Уже взрослым, двадцатидвухлетним парнем летом 1958 года я по случайности оказался в одном из сёл вблизи от посёлка Колывань, где заваривалась кровавая каша крестьянского бунта, и услышал от его жителей кое-что такое, о чём в советские времена говорить было не принято...

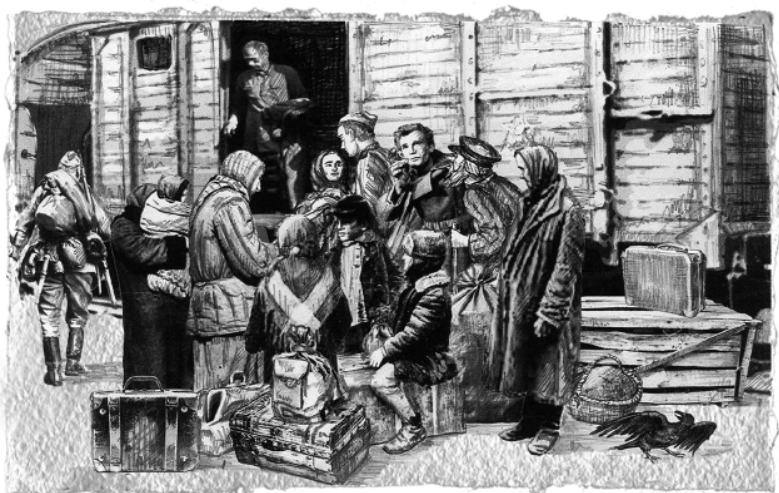
В 2011 году в мои руки попали два тома книги «Сибирская Вандея. 1920—1921 гг.» — сборник рассекреченных ар-

живных документов. Уникальная информация! Как же не воспользоваться ею? Так что весь рассказ о колыванском восстании в этих главах — абсолютно документален. Хорошо или плохо, что сведения, полученные мною в 2011 году, я вложил в уста персонажей повести через девяносто с лишним лет? Тут можно спорить. А я считаю — хорошо. От этого выигрывают и повесть, и читатель. Архивные документы изучает узкий круг специалистов, а правду надо бы знать всем...

Ныне, когда умирает русская деревня, уродуется русский язык, а вместе с ними погибают и сотни говоров, веками существовавших в тысячах сёл Сибири, кто-то этому, возможно, радуется. А я печалюсь. Так заковыристо говорили мужики и бабы в таёжной глухомани, что нам, блокадникам, поначалу даже понять их было трудно. Но нередко они так точно, одним словом выражали свою мысль, что в ответ только «ах» да «ох»... Скажет — к стенке припечатает.

Через диалоги петушихинцев и жителей окрестных деревень мне хотелось хоть в малой мере показать характеры и особый говор окружавших нашу семью людей. Их особый русский язык я освоил быстро, говорил на нём несколько лет деревенской жизни, многое помню и до сих пор...

Не думаю, что нашей семье выпала самая жестокая судьбина. Наверняка, есть истории куда более суровые. Но и мы хлебнули горького до слёз...



НА ПУТИ ИЗ БЛОКАДЫ

Я уже прижился к «очагу», к его бесхитростному распорядку, сдружился со своей ровней и не ждал особых перемен, как вдруг однажды явился Олег, и уже по тому, что он пытался улыбнуться, хотя улыбка никак не получалась из-за распухших от цинги дёсен, понял, что сейчас он сообщит мне что-то хорошее.

И не ошибся, но был потрясён тем, что сказал мой брат: «Завтра утром мы эвакуируемся». Я знал, что это значит: из «очага» уже забрали домой несколько мальчишек и девочек, и они уехали куда-то далеко, где нет войны. Но представить, что наша семья тоже покинет Ленинград, всё-таки не мог. Я привык к неблагополучию и участи быть вечно голодным, смирился с происходящим — да и что ещё мог сделать семилетний ребёнок?..

Наверное, я был очень растерян и рассеян от свалившейся на меня неожиданности, поскольку совсем не помню,

как расстался с «очагом», что происходило вечером дома. Детской душе тоже трудно распрощаться с тем, что она долго любила...

Помню только раннее утро нового дня, грузовик, каких-то людей, одетых в военное, как они уложили в кузов маму на носилках, посадили меня и Ирину, и мы поехали на вокзал...

Финляндский вокзал: 23 июля 1942 года

Я впервые видел папу в военной форме, после того как с завода его перевели на работу в Красногвардейский райвоенкомат, и тарасился во все глаза — таким красивым был он в серой шинели с блестящими пуговицами, туго перетянутой ремнем с жёлтой пряжкой, в фуражке с синим верхом и алой звездой на околыше. На левой руке папа держал спящую Ирину, а правой отдавал честь подбегавшим к нему военным и гражданским людям...

Я понял, что сегодня на Финляндском вокзале папа провожает не только нашу семью, но и огромную толпу людей с чемоданами и тюками, растянувшуюся вдоль длинного ряда вагонов. Часто звучал один и тот же вопрос: «Когда отправление?..» Ужас блокады никуда ещё не подевался. Да, наступило лето, стало тепло, но оставался голод, в любое мгновение могли начаться артобстрел или бомбардировка. Скорей бы трогался поезд!..

Я заворожённо наблюдал за происходящим...

Мама лежала рядом на носилках поверх чемоданов с нашими вещами, укрытая ватным одеялом так, что снаружи были видны только её голова с поседевшими волосами и до крайности бледное лицо с заострившимися скулами. Её морозило. Иногда мама однословно шептала: «Дай...», «Подними...», «Да...», «Нет...», «Спасибо...». Мы давно не слышали настоящего маминого голоса. Говорить громко у неё

не было сил. Уже несколько месяцев мама тихо угасала на наших глазах. Даже иждивенческий паёк, ставший побольше, даже то, что её подкармливали папа и Олег, не помогало. Мама просила папу не отправлять ее в эвакуацию, оставить в Ленинграде: зачем лишние муки ей и нам? Всё уже ясно... Но папа об этом и слышать не хотел.

Ещё дома папа рассказал, что сначала нас доставят по железной дороге до станции (я запомнил её странное название) Борисова Грива, где пересадят на грузовики и повезут на пристань, а потом на военном катере — на другой берег Ладожского озера к железнодорожной станции. Оттуда эшелон пойдёт в тыл. Куда? Пока в документах написано «Башкирия». А может, и дальше. Куда? В Сибирь. Там хуже, чем в Башкирии, но выбирать не приходится...

Папа то и дело посматривал на часы: значит, скоро посадка.

Мы располагались рядом с нашим вагоном. Это был «телятник». Раньше в таких вагонах возили скот. Теперь их утеплили, и они стали называться теплушками. В них отправляли на фронт солдат, а с фронта в тыл — раненых и блокадников. Папа указал Олегу наше место в вагоне. Его охранял солдат.

С трудом волоча ноги, подошёл Олег. Он держал в руках две авоськи с продуктами для нашей семьи. Мы не поверили своим глазам: в авоськах лежали целых две буханки хлеба, несколько банок с консервами и кульки с ещё неизвестно чем!

Папа сказал, что вскоре наш продуктовый запас должны пополнить. И тут же принялся инструктировать, как мы должны питаться: поначалу есть совсем понемногу, в первый день самую малость — три раза, во второй — четыре, в третий — пять раз. Тоже совсем помалу. Увеличивать порции постепенно, и только через неделю есть как обычно: три-четыре раза в день... Известно много случаев, когда

люди, увидев еду, набрасывались на нее, переедали и умирали от заворота кишок.

Ещё, сказал папа, очень важно добраться до Борисовой Гривы к вечеру — переправа на другой берег Ладоги происходит ночью. Ехать-то совсем недалеко, но сколько будет тащиться поезд, неизвестно: угля для паровозов нет, поэтому их топят дровами, а дров тоже не хватает...

Глянув на часы, папа начал прощаться с нами. Мама что-то хотела сказать ему, но только расплакалась. Папа наклонился, поцеловал её, обнял нас с Олегом, долго тискал особо любимую им Ирину.

И только в этот момент до меня окончательно дошло, что папа не едет с нами в эту самую Башкирию, что он остаётся в Ленинграде... «Папа, а ты приедешь к нам... туда?» — собрался я спросить, но тут заработал громкоговоритель: объявили посадку.

Началась толчея, свалка, раздались вскрики, всхлипы, плач, слившиеся в один негромкий душераздирающий стон: истощённые, обессилившие люди разучились громко говорить, не то что кричать.

Военные и санитары быстро рассадили блокадников с их скромным багажом по теплушкам.

Отъезжающие тут же столпились у ещё открытых настежь раздвижных дверей шириной едва ли не в полвагона и словно по команде застыли в печальном молчании. Наступила гробовая тишина...

Перрон Финляндского вокзала был пуст, на нём не осталось никого, кроме военных, санитаров и железнодорожников. Провожать покидающих родной город ленинградцев было некому: мёртвые лежали в земле, живые не имели сил для такой церемонии, обычной в мирное время и невозможной в эту несносную пору, когда каждое лишнее усилие могло стоить человеку жизни.

Меня же в те мгновения мучил вопрос, который я хотел выкрикнуть, но не смог: «Приедет к нам... туда наш папа или?..» Я не заметил, как меня оттеснили вглубь вагона, понял, что пробиться к ещё открытой двери сквозь плотно сгрудившихся вдоль неё десятков взрослых людей мне, мальцу, уже не удастся. И пополз на просвет меж мужских и женских ног. И пролез. Едва высунув голову, увидел папу. Он стоял и курил.

— Папа! Папа! — закричал я. — Папа, я люблю тебя, папа! Ты приедешь к нам?.. Папа, когда закончится война?!

Папа отшвырнул окурок, ринулся ко мне, обнял мою торчащую меж чьих-то ног головёнку, прижал к груди и целовал, целовал — в лицо, в волосы, громко говорил:

— Скоро, скоро, сынок!.. Вы вернётесь в Ленинград!.. И мы увидимся, увидимся...

Папа ещё договаривал эти слова, а двери вагона уже стали закрывать, подталкивая людей вглубь теплушки. В последнее мгновение я услышал чей-то голос:

— Лейтенанта Ильинского к майору!..

Лязгнули затворы дверей, внутри стало темно.

Поезд сипло свистнул и медленно тронулся.

Никто не знал тогда, что война продлится ещё два года и десять месяцев, а блокада Ленинграда — ещё 549 дней, что в осаждённом городе от голода умрут многие тысячи ленинградских детей...

Ладога

До Борисовой Гривы паровоз тащился целый день.

Всё произошло так, как говорил папа. Поезд шёл медленно, и едва въехал в какую-то рощицу, как сразу остановился. Машинист стал обходить теплушки, высматривая мужчин и женщин покрепче: надо было, как объяснял он у каждого вагона, заготавливать дрова — валить берёзы

и сосны, обрубать сучья, распиливать стволы на чурбаки, колоть их, перетаскивать к паровозу, поднимать в огромный железный ящик, откуда машинисты закидывают поленья в топку...

Люди с оторопью поглядывали на лес из распахнутых дверей теплушек, но браться за работу, для которой не было сил, не спешили... Ко всему прочему, за дверями вагона бушевал холодный ливень. Небо было затянуто низкими черно-серыми облаками, которые неслись над головами бесконечным потоком... Как работать под проливным дождем?

Устав бегать вдоль теплушек, насквозь промокший и продрогший, машинист остановился в середине состава и стал громко кричать: «Хотите сидеть посреди поля? Сидите. Хотите уехать? Выходите валить деревья!»

Ворча и поругиваясь, один за другим люди начали спускаться из теплушек на землю, под холодный дождь, разбирать инструменты. Вскоре дело пошло на лад: деревья стали падать...

Олег обрубал сучья, я подносил к паровозу полено за поленом...

Дождь лил, ветер пронизывал насквозь, ноги уже заплетались, до смерти хотелось есть и пить... Сколько длилась эта борисовогривская эпопея? Не знаю. Кажется, целую вечность...

Поезд пришёл на станцию Борисова Грива, когда вечер ещё не наступил, но сумерки и лёгкий туман уже окутали дома и деревья.

Блокадников ожидал длинный ряд грузовиков. Матросы быстро загрузили нас в кузова, и машины тронулись. Вскоре мы были на пристани...

Едва стемнело, к пирсу откуда-то из тумана один за другим стали подходить военные катера. Эвакуированных на-

чали спешно загружать в порядке живой очереди. Организаторы перевозки говорили, что немцы тщательно следят за всеми передвижениями по Ладожскому озеру, днём пристрелян каждый квадрат. Для переправы раненых и блокадников есть только ночь.

В конце июля ночи в Ленинграде уже не белые, но ещё короткие. Катера успевали сделать только две нормальные ходки, третья была рискованной. Низкие тучи и ливень тут были как нельзя более кстати.

Ни в первую, ни во вторую ходку наша семья не попала. Укрывшись одеялом, мы несколько часов дремали в каком-то сарае.

Погрузка началась далеко за полночь, проходила в бешеной спешке. Военные катера были невелики размером и вообще не приспособлены для пассажирских перевозок. Здесь всё для боя.

Небольшой трюм заполнили ранеными, палубу забили блокадниками. Маму на носилках пристроили где-то на носу катера, а мы втроем — Олег, Ирина и я — оказались совсем в другом месте. Скорей, скорей! Не до церемоний...

Передвигаться по катеру было запрещено — он был перегружен, натужно тархтел, едва не черпая воду бортами. Невысокая волна порою накрывала нас градом крупных холодных брызг.

Было видно, что матросы встревожены, нервно переругивались меж собой: ливень прекратился, облака рассеивались, уходили в небо, в котором обозначились голубые просветы.

Сонная Иринка ныла: «Где мама? Где мама?» Олег с двумя сумками из-под противогазов, в которые папа разложил наш продуктовый запас, цыкал на неё, но вскоре тоже не выдержал, повесил одну сумку на свою шею, а другую — на мою: «Держи: здесь хлеб. А я к маме».

Когда Олег вернулся, я крепко спал, а сумки с хлебом не было — её кто-то срезал в темноте, на шее у меня остался только брезентовый ремень. Мной овладел ужас, я плакал, бился в истерике в Олеговых руках и никак не мог прийти в себя, выкрикивая одно и то же слово: «Кто? Кто? Кто?» Я знал, что значит даже самый махонький кусочек хлеба, а тут — целая буханка... Олег не ругал меня, прижал к себе, гладил по спине: «Ничего, ничего... Как-нибудь обойдёмся...» Обращался к окружающим...

Но надо знать, что сделали голод и холод с интеллигентными ленинградцами: они привыкли к бедам и несчастным случаям, крови и смерти как повседневной неизбежности. Инстинкт самосохранения — вот главное, что осталось. Пропажа буханки хлеба — понятное дело, беда, однако ведь чужая, не моя... Олег кинулся к сидевшим рядом матросам, но те отмахнулись: «Не видишь — светает? А мы посреди Ладоги! Сейчас такое начнётся!»

Рассвет пришёл почти мгновенно. Тучи вмиг рассеялись, стояли в поднебесье рядом с бледной утренней луной. Всё вокруг вдруг стало видно далеко: цепочка катеров впереди и позади нашего катера, шедшего в середине... И быстро догонявшие нас три больших белых катера. Вскоре они поравнялись с нами и также быстро ушли вдаль, во мглу...

На палубе уже никто не спал: ждали берега и с опаской поглядывали в рассветное небо. И не ошиблись...

Через несколько минут послышался далёкий гул самолетов, и уже по звуку всем стало ясно — «мессершмитты». Выстроившись в шеренгу, они неслись низко над водой и полоскали огнем из пулеметов по катерам. Наш катер прошла пулеметная очередь. Раздались крики, стоны... Потом «мессеры» взмыли в небо, развернулись и стали сыпать бомбы. Рядом, посреди катера без умолку оглушительно «татакали» два зенитных пулемёта. Огрызались и другие

катера. Я видел, как рухнул в воду «мессершмит», как от прямого попадания бомбы разлетелся на части шедший поодаль от нас катер...

Вой пикирующих самолетов, пулеметный стрёкот, взрывы бомб, свист пуль и осколков, вода, смывавшая за борт вещи и людей поднявшейся от взрывов волной, — этот кошмар, казалось, длился бесконечно долго, хотя на самом деле прошло, наверное, всего несколько минут...

Вдруг эта жуть разом прекратилась — в небе появились наши «ястребки», завязался воздушный бой. Немцам стало не до катеров. Мы видели, как, задымив, один за другим рухнули в воду два «мессершмитта», как остальные кинулись удирать.

А наша поредевшая и потрепанная флотилия с плачем по убитым и стонами раненых приближалась к берегу, уже прорисовывавшемуся на горизонте тонкой черной линией.

И тут нашим глазам предстала ещё одна страшная картина: под воду уходил один из трёх совсем недавно обогнавших нас белых катеров. Катер был большой, зелёного цвета, а не белый, из воды ещё торчал его нос... Почему он совсем недавно показался мне белым? Не понять. По воде плавали чемоданы, тюки с вещами, игрушки и много-много кукол. И ни одного человека — ни живого, ни мёртвого. Остро пахло бензином и гарью...

Через несколько минут все враз забыли и об этой трагедии. С немецкой стороны высоко в небе снова послышался гул самолётов. Они шли не над Ладогой, а вдоль берега, к железнодорожной станции.

Вдруг из самолётов одна за другой посыпались чёрные точки, над которыми через несколько секунд стали вспыхивать белые шары. Это были парашютисты — десант.

Катера остановились. А с берега в сторону парашютистов на фоне серого предутреннего неба потянулось много

красных нитей. Белые купола один за другим вспыхивали или свёртывались в длинные белые ленты и летели вниз.

Снова появились наши истребители, ринулись вдогонку за немецкими самолётами.

Катера двинулись к пристани.

Матросы, ещё не остывшие от боя, вновь уселись у кормы на своих прежних местах и возбуждённо обсуждали сразу оба события — налёт «мессеров» и десант...

Вышел морской офицер и громко объявил в рупор, что наши войска уничтожили немецкий десант, что путь свободен...

Блокадники хлопали в ладоши.

Однако офицер поторопился с объявлением: путь впереди нас был устлан белыми парашютами — это плавали убитые в воздухе немецкие десантники. Караван сбавил ход. Среди белого и зелёного ползали военные катера, матросы баграми вылавливали трупы немцев и затаскивали их на борт. Так мы и двигались потихоньку, наблюдая эту жуткую картину.

И вот наконец-то берег и пристань! Из кубрика выскочил молоденький матросик и сообщил, что мы за линией блокады. Парнишка в бескозырке произнёс эти слова так радостно и торжественно, будто это не мы, блокадники, а он покидал вымирающий город, будто это не ему, а кому-то другому ещё неизвестно сколько раз снова челноком между ладожскими берегами...

В Сибири!..

На станции Кобона эвакуированных снова пересчитали, «пересортировали»: убитых — в морг, раненных — в лазареты, остальными плотно напихали теплушки.

Настроение в вагонах было уныло-приподнятое. Часть семей горевала по родным, которые остались в Кобоне,

кто — навсегда, кто — в неопределенности: выживет — не выживет.

Сейчас в это можно не поверить, но слово «горевали» по умершим и раненым, а не какое-либо другое, более сильное и эмоциональное, скажем, «убивались» — вполне подходило к той ситуации. Люди привыкли к смерти, смирились с ней; смерть, по сути, утратила свое трагическое значение, стала повседневной обыденностью...

Люди копошились — раскладывали простыни на наваленном толстым слоем сене, набивали этим сеном наволочки, укладывали больных и детей, натягивали поперёк вагона верёвки, развешивали на них кто одеяла, простыни, а кто просто какие-то полотнища, отгораживаясь от соседей. Вскоре наша теплушка была поделена на несколько «комнатушек». В каждой потекла своя, особая жизнь...

Нам досталось всё то же место — в левом углу теплушки. Маму подняли на носилках и положили в этот угол санитары. Олег обустроил новое жизненное пространство, разложил газету, вынул продукты и стал кормить маму. Мы с Ириной ждали своей очереди...

С каждым часом эшелон с блокадниками всё дальше уходил от линии фронта. Немецкие самолеты дважды догоняли его, пытались бомбить, но обе атаки отбили наши истребители.

На какой-то станции сообщили, что Башкирия забита блокадниками. Поезд пойдёт дальше — в Сибирь. В какую область? Выяснится по дороге: может, в Томскую, может, в Омскую, а вернее всего — в Новосибирскую.

Наш эвакуационный путь, рассчитанный, как говорил папа, дней на десять, затягивался: состав то и дело загоняли на запасные пути или в тупики. Навстречу нам неслись товарняки с пушками, танками и воинским пополнением — на фронт; мы уступали путь и поездам с фронта —

они везли в тыл раненых. Иногда стояли по несколько часов, а порой по два-три дня. Это было «путешествие», полное множества личных драм и трагедий, изнуряющей душу обыденности.

Порой мы часами сидели в духоте и вонии «теплушек», не смея не то что выйти, а даже высунуться из вагона, поскольку то и дело звучала команда: «Поезд трогается!», а он стоял себе и стоял; а то безо всякого предупреждения паровоз, даже не гуднув, срывался с места, и те, кто сошел на землю по нужде, за водой или ещё по какой надобности, на подгибающихся ногах с ужасом на лицах, с криками «Подождите!» пытались догнать свой вагон, а поезд лишь ускорял ход: машинисту неожиданно дали «зелёный», и он должен был успеть проскочить на него, и не дай Бог задержать движение — дисциплина на железных дорогах была военной, время жестокое, расстрельное. Счастливики из отставших, кого успевали схватить за руки и втащить, задышающихся, с насыпи в теплушки, плакали от радости, а отставшие, воздевая руки к небу, становились на колени, рыдали и слали проклятия вслед «бессердечным паровозчикам».

Такое однажды случилось с Олегом. На каком-то задрюканном полустанке посреди поля, где, кроме будки стрелочника и водокачки, других строений не имелось, объявили, что остановка продлится двадцать минут. Многие, среди них Олег, кинулись к водокачке. Выстроилась длинная очередь. А паровоз, едва остановившись, почти сразу медленно тронулся. Очередь даже не шелохнулась: ну мало ли почему надо чуть продвинуться вперёд? Но когда, набирая скорость, мимо прошли один вагон, второй, третий, все поняли, что это не манёвры. Толкаясь, сшибая друг друга с ног, гремя ведрами и кастрюлями, добрая сотня человек бросилась к «теплушкам», карабкаясь на четвереньках к ним по крутой галечной насыпи...

Когда я говорю «бросилась», «кинулась», «побежала», «карабкалась», надо понимать всю неполноту смысла этих слов: основные усилия и движения люди совершали скорее в уме: им хотелось броситься, побежать. На самом же деле они еле шагали, переставляли ноги, как костыли. А это и были «костыли» — обтянутые кожей.

Вот и Олег, как все, не мог бежать, не мог. Он просто сделал несколько шагов в сторону уходящего поезда, остановился и стоял, безнадежно разведя в стороны руки с пустыми чайником и кастрюлей. Я визжал: «Беги, Олег, беги!..» А он стоял, мой старший брат, опора и надежда нашей семьи, и мне казалось, что все мы — мама, Ирина и я — теряем его навсегда. Тихо зарыдала мама, но кто-то сказал: «Ничего! На каком-нибудь воинском подбросят! Не впервой...»

Но проходили дни, а Олега и других отставших никто не «подбрасывал»...

И всё же случилось именно так, как было сказано кем-то: на одной из станций Олег появился из вагона воинского эшелона с ранеными. И кто-то из этих раненных, как бы завершая незаконченный разговор, крикнул ему вдогонку: «Не дрейфь, Олег! Всё образуется».

Не знаю чем, но он очень нравился людям, мой брат: не по возрасту высокий, с длинной шеей, с большими, чуть растерянными глазами и какой-то виноватой улыбкой, почти никогда не сходявшей с его лица...

Мама гладила Олега по лицу:

— Смотри-ка — поправился, даже порозовел, а был синий и жёлтый.

— Так ведь раненные закармлили меня, питание-то у них усиленное, — рассказывал Олег.

Кое-что Олег припас и для нас — американскую тушёнку, шоколад. И белый хлеб. Мы уже давно забыли, что хлеб бывает белым...

Да, как правильно сказал рыжий матросик на катере, мы были за линией блокады; линия эта стала уже полосой шириной во многие сотни километров и с каждым днём увеличивалась, но сама блокада никуда не девалась, она со всеми её страхами и ужасами ехала в душах и памяти каждого из блокадников.

Чем дальше уходил эшелон в глубь России, тем больше продуктов можно было купить (кто имел деньги) или выменять на вещи у жителей станций и ближайших деревень, ждавших составы с ленинградцами. Они продавали хлеб, картошку, огурцы и помидоры, молоко, яйца и даже варёное или жареное мясо. В особой цене были лук и чеснок. В них нуждались все блокадники, и прежде всего больные цингой.

Олег наш был одним из таких страдальцев: дёсны у него распухли, гноились и кровоточили, зубы шатались, говорил он с трудом, длинные и сложные слова произносил почти по слогам, иногда со второго-третьего раза. Олег старался съедать побольше сырого лука, хотя это было опасно для желудка. По нескольку раз в день, постанывая и морщась от боли, он натирал дёсны дольками чеснока, полоскал рот настоями трав, сплёвывая в алюминиевую кружку кровависто-жёлтую жижу, но болезнь отступала нехотя.

Эшелон блокадников, железнодорожный состав блокады... Изморённые до предела голодом, запуганные, психически истощённые, доведённые до полоумия, люди продолжали страдать прежними болезнями и заболеть новыми...

Обилие продуктов неожиданно-негаданно принесло блокадникам большую беду: истосковавшиеся по настоящей пище, люди стали есть всё без разбору и помногу, часто не промыв овощи и фрукты хотя бы в сырой воде, не то чтобы ошпарив их. Вода и особенно горячая была в большом

дефиците. Кипяток набирали на станциях, но он быстро остывал. А эшелон нередко пролетал со свистом две-три ожидаемые остановки, даже не притормозив...

У многих расстроилось пищеварение, блокадников до изнеможения стали изводить поносы. Но в теплушке-то на каждом квадратном метре — человек. Не побывавшему в этой обстановке трудно даже вообразить, какая вонь и духота стояли в замкнутом помещении! Только поначалу, день-два, когда было тепло, мы ехали с открытыми дверями. Потом стало холодать, пошли дожди, ветер задувал в вагон, и люди стали простывать. По неосторожности несколько человек, стоявших у дверей, на стыках рельсов и крутых поворотах вылетели из вагонов, разбившись насмерть.

Открывать двери на ходу категорически запретили — «ради безопасности». Да и вообще-то запирались двери снаружи сопровождавшими эшелон железнодорожниками. По своему усмотрению — в зависимости от того, короткой или долгой была остановка, — они и решали, дать теплушке свежего воздуха или нет. Невозможность жить в этой вонь и дышать спёртым воздухом, где кислород присутствовал в пограничном значении, инструкциями не предусматривалась.

Сообща было решено: справлять нужду «по-большому» внутри теплушки нельзя. Железнодорожники самовольно придумали выход из деликатного положения: сделали так, что во время движения поезда дверь фиксированно приоткрывалась до размеров щели, в которую человек мог выставить наружу свой зад; два блокадника держали пристроившегося в «позе орла» страдальца за руки, двое придерживали ноги... Ветер разносил испражнения, лепил их на задние вагоны.

Стыд? Понятия о приличиях пропадают, если человек поставлен в скотские обстоятельства. Тут многое из «чело-

веческого» мгновенно куда-то улетучивается, словно его и вовсе не существовало. Перед вами — животное. Мужчина, женщина — какая разница? Разве скотину, которую и ныне перевозят в специальных вагонах с забытым названием «телятник», выводят на станциях «справить нужду»?.. Шла война, смерть косила миллионы жизней, ходила рядом с каждым, кто жил в военной зоне, но хотел оставаться живым. Тут не до приличий. Эвакуировали, конечно, людей, личностей. А можно сказать и по-другому — прагматичней, циничней (и это будет тоже правда): спасали «человеческий материал», и прежде всего детей — будущих матерей и отцов, работников и солдат...

Пока поезд нёсся к следующей станции, из дверной щели каждого вагона, сменяя размер и очевидную половую принадлежность, постоянно торчали несколько десятков голых задниц. Плотный ветер, образуемый инерцией быстрого движения массивных материальных тел, создавал фекальные вихри, частицы которых причудливо разукрашивали не только стены вагонов, но достигали также следующих задниц, кроме той, которая выдавалась из самой первой за паровозом теплушки.

Начальство и врачи быстро приняли эту форму борьбы блокадников за санитарную чистоту своих помещений. На подъезде к очередной станции эшелон останавливали, к нему подъезжали машины с огромными канистрами, наполненными хлорным раствором. Вагоны быстро-быстро отмывали, врачи наспех осматривали больных, некоторых снимали с поезда и отправляли в стационар — больше всего боялись вспышки дизентерии, но бог миловал...

Теперь представьте себе людей, видевших описанную мною картину со стороны.

Вот колхозники убирают урожай с полей, мимо них несется наш состав. Что могли подумать они? Кто-то на-

верняка сплюнул: «Бесстыжие!» Кто-то, ахнув, стыдливо отвернулся. А кто-то от души похохотал: «И кто это такое учудил!..»

Не успела наша семья отойти от истории с Олегом, как случилось страшное: у еле живой мамы случился сердечный приступ. Доктор из врачебной бригады, сопровождавшей эшелон, появился только на станции, когда поезд остановился. Мама была без сознания. Осмотрев её, врач сказал Олегу: «Состояние крайне тяжёлое. Нужен стационар. Если вы не против, распишитесь вот здесь...»

Олег расписался в какой-то бумажке.

Маму положили на носилки и унесли. Глянув на Олега, доктор повторил: «Крайне, крайне тяжёлое... Понимаете, что это значит?..»

В эшелоне ежедневно умирали. Мы видели, как на станциях санитары проносили на носилках тела, покрытые белыми простынями, знали, что это мертвецы. Было горестно. Но вот унесли нашу маму... Обняв меня с Иринкой и прижав к себе, Олег сказал: «Наша мама не умрёт. Вот увидите. Наша мама не бросит нас. Наша мама сильная».

В его голосе было столько же воли, сколько и отчаяния. Олег любил маму особой любовью ребёнка, у которого нет на свете никого, кроме матери. Наш папа был ему отчимом, а родного отца, первого мужа нашей мамы, моряка Григория Ломова, он никогда не видел: однажды тот ушёл в море, бросив беременную жену, и не вернулся. Олег носил его фамилию — Ломов.

В долгие месяцы блокады Олег, как уже говорилось, учился в ремесленном училище, а потом, пятнадцатилетним, встал к токарному станку... Металлический завод имени И. В. Сталина работал на оборону, режим труда здесь был построен на военный лад, держался на железной дисциплине. Малолетки имели некоторые послабления: им да-

вали больше времени на отдых. Вот в эти часы Олег, когда мама совсем слегла и не могла ходить, ежедневно добирался пешком до дома, чтобы отоварить мамины иждивенческие карточки, покормить её, насобирать какого-нибудь топлива, разжечь буржуйку, согреть мамину комнату, прибрать мамину постель. А потом шёл на завод, снова вставал к станку. Мама видела, как жертвенно, по-мужски и взросло ведёт себя её сын, гордилась этим и в то же время горевала: не вынесет мальчишка такой нагрузки, свалится, как и она. И надо ли говорить, как любила она своего первенца!..

Проходили дни, а мама не возвращалась. И никаких вестей... Я стал привыкать к мысли, что у нас больше нет мамы, и однажды сказал об этом Олегу. Лицо его, и без того бледное, стало белым как снег. Он схватил меня за грудки, притянул к себе и трясущимися губами трудно, так, будто у него свело скулы, выговорил по слогам: «Не-смей-так-ду-мать!..» И оттолкнул меня. Ничего подобного прежде не случалось — он был очень добрым, мой старший брат, никогда меня даже пальцем не тронул...

И свершилось чудо... Наш поезд вдруг стал тормозить, остановился среди чистого поля и стоял несколько минут, пока по соседнему пути нас не догнал воинский эшелон. Такое случалось и раньше — машинист получал по радио команду, и мы стояли столько, сколько нужно, пока какой-нибудь более важный, обычно воинский, эшелон не проносился мимо. В этот раз эшелон был тоже воинский, но он тоже остановился, и мы услышали голос:

— В каком вагоне семья лейтенанта Ильинского?

— Мы здесь, здесь! — кричал Олег и кинулся к двери. — Это мама!.. Помогите открыть!..

Дверь вскоре распахнули.

— Кто здесь Ломов Олег? Ты? — спросил подбежавший офицер, увидев стоящего в дверях мальчишку.

— Я, я! Где мама?

— Будет тебе тотчас твоя мама! — Офицер уже призывно махал кому-то рукой. Через несколько минут красноармейцы принесли на носилках маму. Она улыбалась.

Я сказал: «Свершилось чудо». Кто-то усмехнётся: «Излишний пафос! В чём тут чудо?» А я говорю: случай этот, если всерьёз задуматься, и в самом деле из разряда чудес.

На огромных пространствах Советского Союза шла война, мы отступали, несли огромные потери. В те дни, часы и минуты, когда в наших теплушках кто-то страдал, стонал от боли, умирал или отставал от поезда и терялся, на фронте кричали от ран, пропадали без вести и погибали тысячи людей. На счёт «раз», в одну секунду, одномоментно уходили из жизни тысячи, многие тысячи. Ну что за беда на этом фоне — смерть полуживой иждивенки?

Но это была мать троих детей. Но это была жена офицера. Не генерала и даже не майора, а всего-то лейтенанта, который оставался на фронте в живых, как потом, после войны, скажет статистика, в среднем всего десять дней. Невелика птица — лейтенант. Что уж говорить о лейтенантской жене? А вот поди ж ты — вытащили с того света, спасли!.. Но самое чудесное в этом случае — это то, что «кто-то», потратив немало времени и сил, позаботился о том, чтобы вернуть мать её детям, а лейтенанту — веру в то, что он всё-таки не «расходный материал», а величина — хоть и малозаметная, но совершенно необходимая, взятая хоть в чисто человеческом, хоть в воинском измерении... Без солдат и лейтенантов генералы и полковники воевать и побеждать не могут.

Когда я думаю об истоках нашей победы над Гитлером и фашизмом, то главным (вопреки всем прямо противоположным утверждениям) считаю то, что советские люди, оказавшись в жесточайших, порой нечеловеческих, скотских условиях, в подавляющем большинстве не расчелове-

чились, не озверели. И военная машина Советского Союза (а такой машиной в те годы являлись и армия, и тыл — вся страна) была нацелена не только на производство оружия и уничтожение врага, но также (повторюсь!) на сбережение своего народа, и прежде всего детей и их матерей.

Скажут: «Случай!» Нет, частный и живой пример, подтверждающий эту мысль, с которой я начал свои рассуждения о глубинном смысле эвакуации в этой части своей повести. В истории нашей семьи таких «случаев» было несколько, позднее я расскажу о них...

Станция Черепаново

Наше «путешествие» по железной дороге продолжалось сорок дней...

Однажды ночью вагоны с блокадниками загнали в тупик — дело привычное. Все спали, не подозревая, что долгий путь закончен.

Люди стали просыпаться от громкого женского крика: «Станция Черепаново! Разгружаемся! Разгружаемся! Станция Черепаново!..» Одевались, открывали двери, выглядывали из теплушек, но в полусвете раннего сентябрьского утра не виделось никого, кроме одинокой фигуры женщины в железнодорожной форме, шедшей вдоль состава и монотонно повторявшей одно и то же: «Станция Черепаново! Разгружаемся!..»

— Что значит «разгружаемся»? — спрашивали из теплушек. — Приехали?

— Разгружаемся! Станция Черепаново! Разгружаемся!.. — продолжала кричать женщина, проходя вдоль состава уже в обратном направлении, словно и не слыша вопросов.

Люди недоуменно пожимали плечами, но команда эта была такой долгожданной, что уже через малое время из вагонов начали спускаться на землю подвыздоровевшие жен-

щины и подростки, а оставшиеся наверху старики и старухи стали передавать детей на руки стоявшим внизу.

Появилось несколько железнодорожников. Они помогли снять лежащих больных, чемоданы и прочий скарб эвакуированных.

Чего только не было среди этого скарба!..

— Где вещи? — спрашивал упитанный железнодорожник у сутулого старика-блокадника с таким длинным носом, что его невозможно было спрятать даже в пушистых усах.

— Разве не видите? Вот они, — отвечал старик, показывая на граммофон и огромный футляр у своих ног. — Я, видите ли, виолончелист... Граммофон антикварный... Сказали, брать самое ценное, сорок кило, не более... Часы, портсигар... золотые... Променял в дороге на продукты...

— Товарищ... как это... А вещи, ну, одежда какая имеется?

— Ах, да, забыл... Пальто с бобровым воротником... Я, знаете, солист, у меня была хорошая получка... Променял... — сконфуженно признался старик и развёл руки с таким видом, будто его уличили во лжи.

— А шамать чё будешь? — с наигранной жалостью спросил железнодорожник. — На те ж одежда как на палке висит, один нос остался.

— «Шамать» — это значит «есть», что ли? — неожиданно рассердился старик. Заговорил задиристо. — Вы что?.. Я ещё играю... вполне... И потом... советская власть... Люди...

— Ну, тады с приехалом! — хмыкнув, завершил разговор железнодорожник. И пошагал к следующему вагону.

Время близилось к полудню, распогодилось. Пуская длинные, густые клубы мокрого пара, неподалёку маневрировал паровоз. Резко пахло каменным углем, пылью которого была густо просыпана трава.

Маме опять стало хуже, она лежала на одеяле у наших ног. Рядом стояли четыре чемодана — по одному на каждого члена семьи.

Вдруг все увидели, как прямо по шпалам, вдоль рельсов соседней колеи, опасно кренясь то влево, то вправо, к эшелону с грохотом несётся телега. Возница, молоденький парнишка, стоя в телеге, подпрыгивал и балансировал как циркач, крутил над головой вожжами, нахлёстывая коня. Он подлетел к толпе так близко, что люди шарахнулись в разные стороны.

— Блокадные? — прокричал он весело. — А мы-то вас на других путях ожидаю!.. Э-эх!.. Приехали!..

Лихо развернул коня и помчался обратно.

В одно мгновение толпу охватило веселье: сорок дней мучительного пути люди ждали — и порой казалось, никогда не дождутся, — этого простого слова: «Приехали!» И вот оно прозвучало! Словно давно не видевшаяся родня, люди стали обнимать и целовать друг друга, кричали «ура!», кто-то истерично хохотал. Улыбки, «ура!» и хохот — всё это было так странно и неожиданно, так забыто, но так желанно, что даже лежавшие на земле тяжело больные силились улыбнуться...

Только сейчас, когда все ехавшие в теплушках сошли на землю и сгрудились около своих вагонов, стало ясно, как много людей теснилось в них — тысяча человек, не меньше. Толпу лихорадило, она гомонила, хныкала и стонала.

Показалась длинная чередá подвод. Толпа заколготилась, занервничала.

На одну из подвод, оказавшуюся почти по центру теплушек и толпы, вспрыгнул военный со шпалами на петлицах, поднял правую руку. Левый рукав военного был пуст, заткнут за ремень его портупей. Толпа мгновенно стихла. Плакали спросонья чьи-то дети, посвистывал и шипел маневрировавший паровоз, но зычный голос военного легко покрывал все эти звуки, был слышен всем.

Военный — начальник Черепановского райвоенкомата — поздравил эвакуированных с прибытием в Новосибирскую область и объяснил, что все эвакуированные будут расселены в семьях разных районов и колхозов области. Первая партия отправляется тотчас в райцентр Маслянино, а оттуда — по колхозам. И стал зачитывать список семей первой группы. Олег радостно улыбнулся, услышав: «Семья лейтенанта Ильинского...»

Началась рассадка по подводам... Нашим возницей оказался щуплый старикан — аршин с шапкой, в зимнем треухе, тёплом ватнике и валенках с калошами. Это в начале сентября-то... Когда обоз отъехал от толпы, старик передал нам корзину с едой, назвал своё имя, но я его тогда не запомнил.

Мы принялись уплетать ржаной хлеб и вареную картошку, запивая вкуснятину молоком.

Старик крутил головой, с нескрываемым удивлением тащился на нас, качал головой:

— От до чё ж вы тощи, робя, ну, чиста худоба-худобой... А матушка ваша и вовсе... Ох, гляжу, не жилища... Да-а...

Замолкал, о чём-то думая, повторял с перерывами всё то же: «Вона как оно вышло-то...»

Расспрашивал:

— С Ленинграду, стало быть?.. С войны?.. Выходит, голодно там?

Олег ответил обиженно:

— А вы, дедушка, сами не знаете?

— Как же, слыхивал... А на войне-то всем чижало... Тутот-ка тож не малина... Ленинград, значит... А при царе-батюшке Петербургом звался, столичным городом... Сытно жили. Я баю, тутот-ка, в Сибири... — странным образом высказался дед.

Помолчал, пожевал губами. Спросил:

— Эт сколь же народу... ну, в Ленинграде-то... вашем?

Олег пожал плечами:

— Не знаю точно. До войны миллиона три было...

— Ована! — удивился дед. — В нашем селе три сотни, а кормятся по-разному. Эт как же мильоны насытить?

— До войны мы хорошо жили. Советская власть... — начал было Олег.

— Ой ли? — перебил его дед. И перевёл разговор на другую тему. — А батя ваш — он чё рóбит?

— Кем работает? — уточнил Олег. — Был начальником цеха на заводе имени Сталина... Теперь в военкомате, лейтенант...

— Ована! Имени Сталина... Начальник... Партийный, подикась?

— Член партии...

— Ована! А ты поди-к консомолец?

— Состою.

— А Гитлер-то, бают, прёт и прёт, а большевики-то всё драпают...

— Это временно, сказал товарищ Сталин. Наше дело правое, победа будет за нами, сказал товарищ Сталин, — вдруг взорвался Олег.

— Дак и я баю: «Победа будет за нами...» — согласно протянул старик. — А ты шустряк, парень. Как тя кличут-то? Шустряк! Ох, и любил я вас, шустряков!.. О-ох, любил!..

И дед так огрел лошадь кнутом, что она припустила рысью, вдогонку за ушедшим вперёд обозом.

День клонился к закату, солнце село прямо на верхушки деревьев плотного и высокого леса, видневшегося вдаль. А пока мы ехали лугами с изредка попадавшимися небольшими берёзово-осиновыми рощицами. Был момент, когда дорога изогнулась крутой дугой так, что с нашей приотставшей подводы стали видны первая упряжка и весь рас-

тянувшийся в длинную цепь обоз. Я начал считать телеги, но сбился: много. В каждой по три-четыре блокадника — старики, старухи, матери и дети...

Подвода за подводой обоз вползал в тайгу — лес, неведомый никому из приезжих. Сразу потемнело. Лесная дорога вилась между стоящих стеной слева и справа высоченных сосен, елей, пихт, кедров и лиственниц, берёз и осин. Казалось, что чернеющее небо лежит бархатным полотном на вершинах этих гигантских деревьев, а разгоравшиеся всё ярче звёзды висят на их ветвях.

И вот ночь полновластно накрыла землю крошечной темнотой. Молодой месяц лишь изредка прокалывал своими лучами густоту хвои, высвечивая лица людей и ухабы дороги, по которой лошади шли почти наугад, по чутью. Всё тише становилось в дремучем лесу. Треснет ветка, скрипнет дерево, ухнет, жалобно заплачет филин. И тишина...

Умолкали сидевшие и лежавшие в телегах люди.

Укрытая одеялом, мама лежала в самой середине подводы, устланной толстым слоем свежескошенного, ещё не высохшего, запашистого сена. По одну сторону от неё, с краю расположился Олег, а по другую — я. Беспробудно спящая Ирина притулилась между мною и мамой. Старик, свесив ноги, сидел боком на облучке и правил лошадьё.

Дурман, исходивший от нагретого за жаркий день леса, стоялых осенних трав, свежескошенного сена и парной земли, пьянил людей, и они, один за другим, засыпали на полуслове небывало крепким, мертвецким сном.

Но вдруг раздавался в таёжной тиши то стон, то детский вскрик, то всхлип, то плач... Блокада не отпускала людей и за тысячи вёрст...

Уронив головы на грудь, дремали вполглаза возницы, и только изредка, будто тоже сознавая особенность момен-

та, боясь нарушить божественную тишину, тихо всхрапывали кони...

Тащился, извивался и покачивался на ухабистой пыльной дороге обоз, словно огромная детская люлька убаюкивала сразу сотни детей и взрослых...

Шёл обоз, спал обоз, видел сны обоз...

Я догадывался, о чем эти сны... Мне никак не хотелось возвращаться в блокадные ужасы, и я твердил себе: «Не спи, не спи!..» Пялился в крошечную тьму осенней ночи широко раскрытыми глазами, даже щипал себя за ляжки, но душа моя, оказавшись в тишине и полном покое, просила отдохновения. Опоённый таёжным дурманом, помимо воли, заснул и я... И тут всё виданное въяве, кажется, уже забытое, вдруг стало проноситься в моей голове в калейдоскопическом виде, мгновенно сменяя один кадр за другим...

Вот Костя и Костина мама, мёртвые — вдруг оживают, садятся в кровати, истошными голосами кричат: «Хлеба! Хлеба!..» Мне страшно, я хочу бежать, но не могу сделать и шага... Костя и его мама куда-то исчезают... И я по голосу понимаю: это не Костя с его мамой кричат, а наш сосед дядя Серёжа, дворник... Он ещё жив!.. Бегу к нему.. Дядя Серёжа лежит в кровати, бьёт ногами в стену и кричит: «Хлеба! Дайте хлеба!..» Я тихо говорю: «Дядя Серёжа...» А он бьёт и бьёт ногами в стену, кричит... Я стою... Он колотит, колотит.. колотит.. И затихает... Умер... С воплем выскакиваю на крыльцо... Передо мной на коленях стоит только что умерший дядя Серёжа, протянул ко мне руки и тихо скулит: «Хле-е-ба! Хле-е-ба!..» Шарахаюсь к воротам... Там, у чугунной ограды, на белом-белом снегу, в розовом пальтишке, розовой шапочке, розовых чулочках и розовых ботиночках лежит мёртвая Настя... Кровь струйками вытекает из-под её розового пальтеца, белый-белый снег становится

красным... розовеет, розовеет... расплзается шире, шире... У меня кружится голова... всё сильнее, сильнее... Сейчас я упаду, замёрзну, умру... Вдруг гремит репродуктор: «Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!..» И я опять оказываюсь в столовой «очага»... Вся в белом воспитательница строго говорит: «Если ты, Ильинский, ещё раз сбежишь домой, то...» — «Сбегу, всё равно сбегу! — кричу я в ответ. — Дайте хлеба!..» — «У меня нет хлеба!..» — кричит воспитательница, лицо злое-презлое. — «У меня есть мясо!.. Пошли!..» Хватает меня за руку и тащит по длинным коридорам... Огромный подвал, чёрная дверь... «Вот написано: “Здесь Смерть помогает Жизни”...» — говорит воспитательница. И оглушительно хохочет: ха-ха-ха-ха!.. Я хочу вырваться и убежать, но она держит крепко: «Нет, нет!.. Здесь мясо. Это анатомичка... Смотри!..» И распахивает дверь... Огромной поленицей, как дрова, лежат мертвецы, а по углам — груды дохлых собак, кошек и крыс... «Хочешь мяса? — орёт воспитательница. И опять закатывается в хохоте: «Здесь Смерть помогает Жизни! Ха-ха-ха-ха!..» Я в ужасе, я кричу..

И просыпаюсь я от толчка в бок: «Что с тобой?» — спросил Олег. Я очумело крутил головой и не мог понять, где я, смотрел в таёжную темень, переживал только что виденный жуткий сон и говорил себе, что теперь мне нечего бояться, мы далеко от войны и всё у нас будет хорошо...

С этой благостной мыслью, сам того не заметив, я снова заснул и долго спал без всяких сновидений, да так крепко, что Олег, разбудив меня, с тревогой спросил: «Что с тобой? То кричишь во сне, то словно мертвец лежишь, не добудиться. Не заболел? Мы уже в Маслянино».

Был полдень.

Всех лежащих больных и нашу маму увезли на медицинский осмотр в больницу. Привезли маму через несколько

часов, к вечеру, с хорошей новостью: с сердцем стало лучше, ей рекомендовали вставать и понемножку двигаться...

Вскоре вернулся и наш куда-то запропавший возница. Да не один, а с рыжим парнем. Стянув с головы меховую шапку, старик обнажил плешивую голову с прилипшими к лысине мокрыми от пота волосами:

— Ну, горемычные, прощевайте... Про войну-то селяне наши разное бают... Я ить на отшибе, на заимке бобылём живу... С той поры, как бабу мою порешили... Ну, на этом на бунте, на колыванском... Дак с тоей поры зарёкся: сиди, Агафоныч, на заимке и не рыпайся... Живи, да тихо живи, тише воды, ниже травы... А тут председатель баит: «Съезди, Агафоныч, в Черепаново... Блокадных подбросишь...» Коня дал. Давнесь не бывал я в такой дали... Полюбопытствовал. Беда! А то ли будет?.. На том прощевайте. Дале вот этот парнишка повезёт. А мне вон туды... — Старик махнул шапкой в неопределённую сторону. — К нам в село никого не определили... Да и слава те, Господи...

Одел шапку и ушёл.

Теперь я запомнил имя старика — Агафоныч...



ДЕРЕВНЯ ПЕТУШИХА

Нового возницу звали Петькой. Это был рослый парень с лихо выющимся рыжим чубом. Пока мы засветло ехали по тайге, он тараторил без умолку, отвечая на Олеговы вопросы, изо всех сил стараясь просветить приезжих обо всём, что виделось вокруг и с чем нам предстояло встретиться в новой жизни. Иногда в его речи звучал местный говор, и тогда смысл некоторых слов мы не улавливали. Петька сразу догадывался и давал разъяснения.

— Сколько же нам ехать ещё до колхоза имени Жданова? — уныло спросил Олег у Петьки, как только мы тронулись в путь.

— До Петушихи-то? Тридцать вёрст, точка в точку. К утру доберёмся.

Дорога из Черепаново утомила нас. И хоть Петькина подвода была и шире, и длинней, чем у Агафоныча, а лошадь порезвей, известие это расстроило нас.

— Я про колхоз имени Жданова, а вы про какую-то Петушиху, — заволновался Олег.

— А-а... Не переживай! Колхоз — Жданова, а деревня — Петушиха. Хоть в лоб, хоть по лбу. Петушиха давным-давно стоит, а именем Жданова её назвали недавно. А почему Петушиха? А бес его знает... У Петушихи, будьте добры знать, есть и ещё звания. Да. А чего удивляться? На всю деревню две главные фамилии: Пономарёвы и Татарниковы. Я, между прочим, Татарников. Есть ещё три фамилии, а народу с ними — всего несколько душ. Нопины, к примеру. Теперь прибавка будет — ваша фамилия... Вот мы, Татарниковы, когда хотим, зовём село «Татарниково». Куда идёшь? В Татарниково. Нас боле всего, тридцать две избы, а людей поболее полторы сотен... ныноча. Да ещё девятнадцать петушихинских мужиков и парней на фронте... девять Татарниковых...

Петька помолчал, надо думать, вспоминая воюющих собратьев и сельчан, продолжил.

— А по правде деревню надо называть «Пономарёвка». Почему? Потому как первыми её основу закладывали Пономарёвы, ещё при царе, давным-давно... Пономари, попы... Они за старую веру какую-то боролись против новой... Потому их зовут староверы, а ещё — кержакі...

— Это и верно давно, ещё при Петре Первом было, — неожиданно, не открывая глаз, подала голос мама. — А началось-то ещё раньше, лет на сто... Был такой Патриарх Никон. Захотел он сделать русскую церковь во всём похожей на греческую. А многие верующие были против. Произошёл раскол... Несогласных стали называть «раскольниками», а потом «старообрядцами»... они стояли за старые обряды. Стали строить свои обители в глухих местах. Вдоль Волги и всюду в России. В Горьковской области... это сегодня... а при царях — это была Нижегородская губерния... есть речка Керженец... Там стояла обитель... и служил в ней знаменитый дьякон Александр... Ему при Петре Первом

голову отсекли, тело сожгли, а пепел в Волгу бросили... Вот тогда убежали все старообрядцы на Урал и в Сибирь. И стали их называть кержаками... «Раскольник», «старообрядец», «кержак» — одно и то же...

Мама говорила тяжело, с перерывами, и скоро умолкла.

— А вы-то откель про всё про это знаете? — удивился Петька.

— Так ведь отец мой священником был... до революции, конечно... Староверов в России множество. С ними жестоко обошлись... Об этом книги написаны, — сказала мама.

— Во как! — воскликнул Петька. — А Пономарёвы ничё про себя не сказывают... Может, и не знают... На деревне нашей церковь была. Снесли. На её месте школу поставили. Марья Ивановна Кравчук там живёт, и директорша, и учительница... В Бога-то Пономарёвы не верят. А может, скрывают... Есть среди них две старухи, в чёрных одежах ходят, а как заговорят, ну чисто вороны... Мы их «каркалками» кличем. Уходят летом куда-то на целый месяц. Говорят, молиться. А куда? Неведомо... Гадают. Могут хоть на человека сглаз, хоть на скотину порчу навести. В селе их опасаются. Но знахárки они хорошие, настои всякие из трав готовят, лечат кого, если попросишь... А всё одно по большинству деревню кличут Петушихой. Почему? Вот я и говорю: сам бес не разберёт. А я так думаю, потому что шибко задиристый, петушистый народ в нашем селе живёт. Теперя надо баить — жил... Сказано же — парней и мужиков на фронт всех как есть загребли... семерых уже поубивали... Под Москвой и на других битвах, может, и под вашим Ленинградом... Некому петушиться-то нонеча. Одни мальцы. Я из всех парней самый больший...

— Сколько ж вам лет? — подала голос мама.

— Семнадцатый пошёл только-только... Потом годик — и на фронт. Не шибко-то хотелось бы, уж больно много убивают... Дак ведь всё одно загребут... А петушились-то из-за чего? Да из-за девок. Девки-то и у нас в селе хорошие, так

баско... ну, «красиво» значит... песни поют, так баско матанно водят... Парней-то в два раза боле было, чем девок... Ну, вот, и ходили наши парни в соседни сёла на точки... ну, на танцы то есть, на игры разные, имай-бежи и другие... Ну и отбивали ихних девок-то. А соседские — они чё? Они в драку... В каки деревни не наскакивали наши!.. Талица — ближе всех, рядом — вёрст десять-двенадцать. Большой Калтай подале. Так и в само Мамоново, где сельсовет, аж за двадцать пять вёрст залетали... Уведут коней из конюшни, запрягут в дрожки, усядутся — и айда!.. А в Мамоново — милиция... Аж в Маслянино залетали, в райцентр, да там милиции много, не разойдёшься... И в Верхнюю Томку... Вот сумасшествие, вот до чего любовь доводит! — аж в Верхнюю Томку добирались, хоть она подале всех... Ох, и дрались! До полусмерти. И на кулаках, и на батогах, в кровь, только кости трещат... Само собой, и соседские к нам тож залетали в отместку.. А ныноча тихо. В Петушихе таперича... теперь всего один сто́ящий парень — это я, а девок много. Вот таперича добавка прибыла. Тебе лет-то сколько? — обратился Петька к Олегу.

— В декабре шестнадцать, — ответил Олег, не поняв, о чём шла речь.

— А это ничо!.. Вот откормишься, и... — Петька осёкся, глянув на маму, внимательно слушавшую его рассказ. — А жить тут можно, хотя тайга — это вам не... — Петька замолчал в поисках сравнения и быстро нашёл. — Это вам не Маслянино и даже не Черепаново.

Почувствовав, видимо, слабинку сопоставления, Петька с досады хлестанул коня бичом. Продолжил:

— Тайга — это с виду красота, а сунешься от дороги на пару метров — сплошь бурелом, завалы, трава выше головы, без топора в другораз шагу не шагнёшь. А зимой снег выше пояса, избы до крыши заваливает. Летом жарко, даже засуха случается, ну а зимой морозище — жуть. Харчок на лету замерзает. Из избы носу не высунешь, даже выйти не-

возможно, потому как за ночь дверь доверху снегом задувает. Мы их вовнутрь открываем потому... Ну, вам-то будет хорошо, вы у Зойки Кривой жить станете, у неё крыльцо высоко... Зверья в тайге, конечно, полным-полно — и волки, и медведи, и рыси, и лисицы.. Птица разная водится...

Много чего ещё интересного рассказал нам Петька. Пустого, совсем не запавшего в память, тоже.

Мы ехали по такой же, как из Черепаново, лесной нетореной дороге, подвода так же колыхалась на колдобинах и ухабах, укачивая и убаюкивая нас; то же чёрное небо и звёзды над самой головой, те же дурманные запахи, но я долго не мог забыться, мне всё не спалось. Рассказы Петьки про тайгу напугали меня, за каждым шорохом чудились звери, чёрное небо стало вдруг угрожающим...

Растолкал меня Олег.

— Т-с-с!.. — прошипел он, приложив палец к губам. — Пусть мама с Ирой спят. Слезай.

Мы подошли к Петьке, стоявшему поодаль от подводы. Солнце только взошло, и в его ярких лучах рыжий Петькин чуб стал огненно-красным. Дул прохладный ветер.

— Вот вам и Петушиха, вся как есть на ладони, — радостно сказал Петька.

Мы стояли на вершине холма. Внизу, расстилаясь в бесконечную ширь и даль, простиралась тайга, а прямо под нами, за лесной полосой в зелёном окаёме, ещё не близко, двумя серыми лентами растянулись длинной чередой деревенские избы. Над каждой избой из печных труб высокими столбами в голубое небо уходил белый дым. Много-много белых столбов на зелёном и голубом...

— Красота? Красота! — спросил и сам себе ответил Петька. — А потому что деревня стоит в ложине. Зимой снегу много, зато ветер проходит верхом и в зиму, и в лето... А во-о-он с самого краешку села, слева, самый первый дом видите? Зойкин дом. Вы там и будете жить. Так Терехов, наш председатель, определил. Многие наотрез отказались пу-

стить блокадных, а Зойка согласилась. Меж собой все зовут её Зойка Кривая. У неё бельмо на левом глазу. Не по злобе зовут, а чтоб различать. У нас середь девок ещё две Зойки... Вы ей про бельмо — не приведи господь. Будто и не видите. Шибко бесится. Ей-то уже двадцать пять, старуха... дочку Ульяной кличут... а на точёк шныряет... «Дроля мой, да дроля мой!..» — пропел Петька пискливым девчачьим голосом и рассмеялся. — А вона, глянь-ка, коршун парит, — тронул меня Петька и указал рукояткой кнута вверх. — Царь-птица... На охоту вышел... повисит-повисит, камнем рухнет наземь и у кого-то курёночка тю-тю...

В голубой высоте, едва покачивая широкими, слегка изогнутыми крыльями, зубчато обрубленными на концах, чуть шевеля вильчатым хвостом, то поднимаемая вверх невидимыми восходящими потоками воздуха, то падающая вниз в его провалы, еле заметно двигалась вперёд большая даже на расстоянии красивая и грозная птица. Вдруг с неба понеслась дрожащая трель «тюю-хьиини, тюю-хьиини»... Будто где-то далеко-далеко заржал молодой жеребёнок.

— Это он своему семейству знак подаёт: «Жив-здоров, мол, вижу добычу, скоро ждите завтрак», — пояснил Петька. — А вообще-то коршун — птица полезная, в основном мышей, сусликов, грызунов да змей отлавливает, ну иногда курёнка стащить может...

И вдруг Петька отчаянно во весь голос затянул:

Чёрный во-о-рон, да чёрный во-о-орон,

Да чё ж ты въё-осси да надо мно-о-ой?

Да ты добы-ычи д не дождё-о-осси,

Да чёрный во-о-рон, д я не тво-о-о-ой!..

— Как красиво вы поёте-то, Петя! — откликнулась с подводы мама. — Это же казачья песня. Откуда вы её здесь в Сибири-то знаете?

— Вот те раз, — удивился Петька. — Дак это ж самый что ни на есть казачий край. А я кто? Я тож казак. Хотя советская власть устранила казачье сословие, особо после

колыванских волнений, но мы-то про себя всё помним... Эй-да ладно. Ещё поговорим, будет время. Гляньте-ка лучше: во-она ястребки... — Петька опять ткнул ручкой кнута в небо. — Эти и вовсе на одном месте чёрт знает сколько висеть могут, пока не высмотрят в траве мышь или ещё какую небольшую живность. Эко трепещут крылышками, эко трепещут...

И вдруг так радостно стало у меня на душе в тот миг! Солнце... Птицы в синем небе... Голубое небо... Лес шумит... Рядом мама, Олег, Ирина. Ещё вот Петька... Белые столбы над избами. И никаких бомбёжек, воздушных тревог и голода... И уже виден дом, в котором мы будем жить. Как прекрасно — жить на белом свете!..

Зойка Кривая

Надо сказать, что в тот памятный день в Петушихе нас ждала и встречала не только Зойка, но и спрятавшаяся за развалюхой напротив Зойкиного дома стайка самого любопытного на белом свете народа — маловозрастных деревенских мальчишек и девчонок. Мы не успели ещё и вещи в сени перетащить, а под окнами Зойкиного дома уже стоял галдёж.

Я выглянул в окно.

— А слабо выйти, как ты там?.. — крикнул кто-то.

С маминого разрешения я вышел за ворота. Передо мной стояла группа «оборванцев», как называла первое время моих новых сверстников мама. Босых, плохо стриженных, в холщовых платьях, мятых штанах и косоворотках навыпуск. С нескрываемым любопытством они молча разглядывали меня, а я — их.

— У-у, какой шкилет... — удивлённо протянул кто-то. — А расчепурился как на матаню...

Я молчал.

— Дратся будешь? — выступил вдруг вперед крупный парнишка.

— Зачем? — испугался я и прижался к воротам.

Парень подошёл ко мне вплотную, смотрел свирепо, и тут я заметил, что у него на каждом глазе по бельму.

— Пошто? А по то, штоб выведать, кто сильнее...

— Чё ты чепишься, Витька? — схватил задиру под локоть беловолосый парнишка. — Дурной, али как? Сам сказал: «шкилет». А разве в том его вина? Фашисты... Тя как кличут? — обратился беловолосый ко мне.

— Игорь...

— Чудно имя. Егором будешь у нас зваться. А ты, Косой, не чепись, канай отседа.

На этом моё первое знакомство с петушихинскими ребятами и закончилось — Олег позвал меня в избу.

Невысокого росточка, грудастая, Зойка оказалась не только кривой на левый глаз, но ещё и рябой. На её широком скуластом лице было несколько глубоких корявин от оспы. Корявины эти не особо портили лицо, когда Зойка была весела и улыбалась. Улыбка у неё была широкая и добрая, а зубы белые, один к одному. И васильковые смеющиеся глаза. Улыбка и глаза в такой момент перекрывали все внешние изъяны её лица.

При встрече Зойка была доброй и ласковой. Она ждала нашего приезда, стоя на крыльце, вышла из калитки на улицу вместе со своей дочкой Ульяной, как только заметила нашу подводу.

Маму занесли в избу, уложили удобно на лавку так, чтобы она видела приготовленный для гостей стол: большие глиняные тарелки с горами свежих огурцов, помидоров, лука, а сбоку крынки с молоком и сметаной. В избе стоял какой-то неведомый нам запах, с дымком от костра...

Когда Зойка усадила всех за стол, дочку свою Ульяну и Петьку тоже, я наклонился к тарелке с помидорами и понюхал их — мне показалось, я обжёг ноздри этим терпким

духом. Но что за ароматы наполнили избу, когда Зойка, ловко шуруя ухватом, вытащила из печи чугунок с разваристыми картофелинами, а потом подхватила деревянной лопатой и выложила прямо на деревянный стол круглую буханку ржаного дурманно пахнувшего хлеба на капустном листе! Разломив его на крупные куски, Зойка сказала, улыбаясь:

— Будьте ласковы, завтракайте, гости дорогие! Вот картохи, аржанушка, только из печи. Чем богаты... Ох, намыкались вижу, худоба-худобой. Конец вашим мукам.

Обжигая руки, мы хватали то калёную картофелину, то кусок горячего ржаного хлеба, макали их в крупную сырую соль, запивали молоком, уплетали за обе щеки, как говорится, только треск стоял. Рядом с мамой на табуретке в тарелке лежало то же, что и на столе. Впервые за многие месяцы мама улыбалась и раз за разом повторяла:

— Спасибо вам, Зоюшка, спасибо!..

Потом подозвала Олега, что-то нашептала ему на ухо. Олег ушёл в сени и вскоре вернулся, передав маме какую-то коробочку и свёрток.

— Позвольте подарить вам, Зоюшка... Вы теперь наша хозяйюшка, вот это...

Мама открыла коробочку:

— Часики... Подойдите, я надену вам на руку.. И это... Посмотрите потом, это женское...

Зойка так и ахнула:

— Да ты ж поди-ка! Да такого ни у кого на деревне нету! Да они таперича от зависти все подавятся! А это... чё это?!

Зойку жгло любопытство — что за «женское» завернуто в газетный обрывок? Она юркнула в спальню и мгновенно выскочила обратно — сплошная радость.

— Ну, девки, держись! «Дроля мой, да дроля мой!» — вдруг пропела она, глядя на Петьку. И расхохоталась.

Поговорили о том о сём. Завтрак закончился. Мама подарила Петьке складной перочинный ножик, чему тот был тоже рад, и ушёл, бросив на прощание Олегу:

— Ты давай, набирайся сил побыстрее, тут работы — невпроворот!.. — И, уверенно рассмеявшись, хлопнул дверью.

— Ну, давайте расселяться, — сказала Зойка. — Постёлю я приготовила в сених, стол для еды изготовила тож, есть скамейка, табуретка, ну а чё ишшо — разлóжите сами. По нужде, как все, во двор, у меня тама чисто. Чё ишшо? Еду готовить будем, пока тепло, во дворе. Там кострище из кирпича, а зимой — в избе, в печи, по очереди. Будем приспосабливаться. А вот насчёт еды, ну, хлеба, картошки, морквы́, свеклы́, соли и прочего — это вам к председателю. Он балакал, будто имеются об этом какие-то постановления.

— Как же так?! — растерянно воскликнула мама. — Мы ж все больные, еле ходим. А я ещё на ноги даже не встала... Ирине всего три годика... Осень, уже сейчас ночью холодно... Пока ехали, я продрогла. Зима на носу. У вас же две комнаты...

— Да каки две? — перебила Зойка маму. — Больша — это горница, а во второй — две кровати тык в тык, моя да Ульянкина. Даже двери нет. А Ульяне уже шесть... А у вас вон каки парни, я и не ведала, будто таки бóльши... Председатель баил «дети, дети»... А какой он дитя, к примеру? — тыкнула Зойка в сторону Олега. — Мясом обрastёт и по девкам...

— Что же делать? — ещё растерянной пролепетала мама, почувствовав Зойкин неуступчивый настрой. — Может, с начальством вашим надо поговорить, может, у кого есть дом побольше вашего? Нам же обещали...

— А начальство у нас одно — председатель колхоза. Только он мне не приказ. У кого избы побóле, он с имя балакал. Дак тамоко и семьи больше. Нет согласных. Только я. Может, дура?

— Да, ну что вы, Зоюшка! Разве я что-нибудь такое обидное сказала? Просто мы измучены... Мы надеялись... Нам обещали... — разволновалась мама.

— Ну вот что, мамаша, — примиряющим тоном, но решительно сказала Зойка. — Постеля тёплая. Тулупом

укроетесь — не замёрзнете. А станет совсем плохо — уж тады в избу пушу. А к председателю я сама счас пойду, пушай кумекает.

Мы промыкались всю осень до зимы то в сенях, то в горнице.

Была Зойка существом взбалмошным, неуравновешенным. То она нас милует — выйдет из жарко натопленной горницы в холодные сени и, чуть не плача, начинает виниться: «Дура она и есть дура... Не сердчайте на дуру. В тесноте-то да не в обиде». И мы с радостью перетаскивали наши постели и прочий скарб в теплоту. Растроганная мама дарила Зойке тут же что-нибудь из одежды, которой, как поначалу казалось, в наших чемоданах было немало.

То вдруг Зойка, работавшая телятницей, возвращалась домой не в духе, с порога начинала орать: «Понаехали! Ишь ты — блокадные... Им худо, а нам сладко? А мне одной жить не чижало? Своя изба, а ступить некуда. Сколько энтой войне ишшо? Эдак и будем мыкаться? Селитесь снова в сени и никаких!»

И мы побитыми собаками покорно перетаскивали своё барахло на привычное место в сенях, где в октябре уже зуб на зуб не попадал; где в маленькое оконце едва пробивались лучи света днём, а в сумерках уже было темно; где из сусека с Зойкиными запасами овощей несло землёй, как из могилы...

Всё это повторялось не раз.

В злости, когда Зойка начинала кричать и ворочать бельмом, лицо её как-то странно скукоживалось и начинало выглядеть сплошной корявиной, а сама Зойка становилась, ни дать ни взять, сущей бабой-ягой...

Мужа Зойкиного, Николая, недавно убили на фронте. Был он из приезжих, назначен в колхоз комбайнёром несколько лет назад. Почему женился на Зойке Кривой — никто не понимал: девчонок на выданье в Петушихе — одна другой лучше, выбирай не хочу. Может, потому, что был

на двадцать лет старше Зойки, а может, ещё почему. Николай мужиком был хозяйственным, мастером на все руки. За одно лето с приехавшими на помощь друзьями-товарищами на краю села срубил добротную избу с сеньями, коровником, загоном для овец, поставил баню, «нужник» — всё как у всех и даже лучше. Зойка цвела и радовалась, и года не прошло, родила девочку. А Николай вдруг запил почёрному.

Началась война. Не сказав Зойке, что и почему, Николай поехал в Маслянино, записался на фронт добровольцем, его тут же забрали и отправили воевать. Обо всём этом Зойка узнала из письма, в котором и было всего-то пять слов: «Зойка, не серчай и прощай. Никола». И ни тебе «люблю», «жди», «вернусь»... А через полгода почтальон принёс второе письмо — из райвоенкомата. В нём сообщалось, что такого-то числа в таком-то месте Николай Павлович Загоруйко пал смертью храбрых.

Зойка ревмя ревела с месяц, жалобилась на судьбу-злодейку и на проклятушую войну всем, кто приходил погоревать вместе с ней. А приходили не только бабы, но и старики — на фронте воевали у кого мужья, у кого сыновья, а то и внуки. Эта похоронка была первой на селе, перепугала всех. А мужиков одного за другим загребали на фронт... Переполошился народ. Что война идёт, что наши драпают, что на войне убивают — всем жильцам Петушихи было ох как ведомо!.. Но вот убили Кольку-комбайнёра, хоть и нового человека на селе, хоть и молчуна, но мужика покладистого и отзывчивого. Смотри-ка, в добровольцы подался, герой какой нашёлся. Теперь поди-ка зарыли в землю кое-как, а то и вовсе в поле оставили воронам на поживу...

Наступила весна, завели матаню, и Зойка снова затянула «Дроля мой...». И только маленькая Ульяна, изба с пристройками и злой табачный дым, которым был пропитан каждый уголок дома, напоминали Зойке, что совсем не-

давно был у неё муж, заядлый табакур, добрый и рукастый. И тогда она снова начинала убиваться, не тая свои слёзы...

Мама помаленьку приходила в себя: поправилась лицом, стала сидеть в постели, потом приспособилась самостоятельно вставать и, держась за стенку, делать по несколько шагов — училась заново ходить, опираясь на Олеговы плечи. А в общем-то, на фоне упитанных петушихинцев все мы ещё выглядели живыми скелетами...

Навещал нас председатель колхоза Терехов, мужик лет пятидесяти, провоевавший на фронте всего ничего и вернувшийся оттуда без правой ноги, отрезанной до колена. Он от входа начинал на чём свет стоит ругать Зойку, а та без страха орала на него, но всякий раз схватка была недолгой: Терехов и сам почему-то недолюбливал нас. Мама грозилась написать обо всём папе, а то и самому Сталину, но не писала. Может, потому, что в ответ на угрозы Терехов мрачно отвечал: «Ах, так? Валяй! Но потом не взыщи! Мне терять нечего, я что мог, потерял». И стучал самодельной тростью по деревянной ноге.

Мама не однажды говорила распалившейся не в меру хозяйке: «Зоюшка, я вас понимаю». И это была правда: когда в твоём доме, где уже живут двое, с утра до вечера толкутся, а ночью раскладывают свои постели и спят четыре чужих, да ещё не вполне здоровых человека, тут и самый большой доброхот и терпяга почувствует неудобство. То я с Ириной шныряли на улицу туда-сюда, то мама с ухватом да сковородником орудует у печи, варит-парит, а хозяйка с дочкой сидят, ждут очереди да слюни пускают. «Нужник» один на шестерых...

Да разве ж только в этом заключались все неудобства, если не сказать, беды? Городские для деревенских — чужие люди. Всё у этих «блокадных» не так: одежда, привычки, говорить с ними не о чем — забот сельских и слов деревенских не знают, всё им надо расталдычивать, как малым детям...

Мы и правда попали словно в чужой мир, в другую страну. Порой казалось, что это какие-то другие люди, изъяснявшиеся на каком-то особом языке, в котором основу составляли современные русские слова, перемешанные со словами старобытными, словно специально исковерканными, придуманными петушихинцами и жителями окрестных деревень. «Има́ть» — означало «ловить»; «ба́ско» — хорошо; верхнюю одежду именовали «лапо́тиной», спички — «се-рянками», место для танцев под самодельные частушки — «точёк» или «мата́ня». Весной собирали съедобную траву разных сортов — «пу́чки», «ди́дли», «гуси́нки», «сара́нки», о которых мы слыхом не слыхивали. Обещать означало «сули́ть», говорить — «бала́кать», трогать — «чепа́ть», кричать — «гу́кать», довольно — «годи́», прислониться — «притули́ться», забор — «заплóт», работать — «ро́бить», медлить — «во́шкаться», обувь — «обу́жа»... Вместо «что?» говорили «чё?», вместо «ещё» — «ишшо», вместо «да» — «ну». Хлеб «пекём», река «текёт». Стебель, тонкую березку «нагина́м». Вместо «зачем пришёл?» — «пошто пришёл?». И уж совсем странно звучало: три па́рни, стри́гу о́вцы, пасу ко́ни. Особых слов и выражений были многие сотни, да нет — тысячи... Этот «петушихинский» язык мало-помалу были вынуждены осваивать и мы...

Председатель Терехов

Особенно трудно приходилось маме. Родилась она в небольшом литовском городке Пушелаты, в семье русского священника, и до семи лет, пока не умерли неожиданно один за другим сначала отец, а вскоре и мать, росла в культурной среде, где общались на литературном русском языке, учили хорошим манерам. После смерти родителей один из братьев забрал её в Петербург, и мама, пока он не эмигрировал в Америку, восемь лет жила в его инженерской семье.

Формально говоря, она не была высокообразованной — окончила всего церковно-приходскую школу, хотя по тем временам и это значило немало. Главным в её образовании были книги. Она читала запоем в любую свободную минуту. Из книг почерпнула множество знаний, приобрела так притягивавший к ней романтизм души и в то же время некую наивность в отношениях, устройстве бытовой жизни и ведении хозяйства.

Нет, мама не была избалованной белоручкой. После отъезда брата в Америку, который почему-то бросил её, пятнадцатилетнюю, в Петербурге одну-одинёшеньку, она была в прислуге у одного из его товарищей. А когда подросла, стала работать на револьверном станке на заводе Макса Гельца. От первого неудачного замужества остался сын Олег, от второго брака родились я и Ирина. Потом война, блокада, болезнь...

И вот теперь сибирская деревня в таёжной глуши, в забытом богом и властями крае: ни телефона, ни радио, ни газет, ни магазина, ни врача, ни милиционера, ни электричества — керосиновая лампа (керосинка), пока есть керосин, коптилка — фитиль, плавающий в каком-то пахнувшем рыбой жире, а чаще и лучше всего — берёзовая лучина: горит ярко, без копоти.

И люди — порой казалось, ну просто дикари, ни дать ни взять!.. Идёт ещё не старая женщина вдоль деревни, меж изб с окнами на пыльную дорогу, вдруг — приостанавливается, расставляет чуть вширь ноги, оттягивает руками сзади-спереди длинную, почти до земли юбку и мочится, даже не глянув вокруг... До нашего приезда большинство жителей Петушихи не носили нижнего белья, не знали, что такое шёлк, сатин, ситец и уж тем более батист, кружева. Одевались петушихинцы в домотканые из льна и конопля платья, запашные рубахи навывпуск или с кожаным пояском, в широкие штаны, летом тоже навывпуск, по холодам заправленные в тяжёлые самодельные яловые сапоги у тех,

кто жил получше. Остальные носили летом и до снега лапти с длинными вязаными шерстяными носками или холщовыми онучами. Для праздников и больших торжеств, кто мог, заводил одежду из тонкого льна с цветной вышивкой на груди и вóроте.

Но таких вещей, которые привезли мы, петушихинские женщины в глаза не видывали. Зойка просто ошалела, когда мама в лучшую пору наших отношений показала ей своё нижнее бельё: комбинации, трусики, бюстгалтеры и другие женские штучки.

— Баско, ой, баско! — только и вскрикивала Зойка, всплёскивая руками.

Не враз, но довольно быстро многие из вещей, привезённых из Ленинграда, перекочевали в Зойкин сундук и в избы других петушихинцев: мука, овощи, соль, выданные нам колхозом по приезду согласно каким-то нормам, известным только Терехову, к зиме стали подходить к концу. Мама опять обратилась к Терехову, но получила ответ, в общем-то соответствующий правде: весь урожай колхоза сдан государству, поделён между колхозниками по трудодням. На складах только семенные запасы, а они неприкосновенны. Оставалось следовать совету папы: выменивать еду на привезённые вещи. Папа так и наказывал маме и Олегу: «Ничего не жалейте, отдавайте всё — главное, чтобы все были сыты, живы и здоровы».

Вначале торговля шла бойко. Некоторые петушихинцы, увидев на соседских детях неведомую одежду или ботинки, сами приходили к маме: нет ли ещё чего-нибудь такого-этакого? На нашем столе появились яйца, масло, а когда в зиму деревня стала колоть свиней, бить телят и овец, резать кур и гусей, то и мясо. Селяне не скупились, мама ни с кем не торговалась, да и не умела, стыдилась. Помаленьку наглея, петушихинцы стали, по сути дела, выманивать вещи, как говорится, за понюшку табака. И первой среди них была Зойка, которой мама по-

казала все наши вещи. Видя, как они тают на глазах, как быстро исчезают наши съестные запасы, Зойка заняла выжидательную позицию, ничего не выпрашивала, хотя и выпрашивать-то особо уже было нечего. Перестали навещать нас и сельчане.

Однажды мама отважилась и вместе с Олегом пошла менять вещи в ближайшую от Петушихи деревню Талицу. Ушли затемно, вернулись ночью, смертельно уставшие и растерянные: на двухколёсной Зойкиной тележке лежал небольшой мешок картошки, в корзинке — два десятка яиц, немного масла и завёрнутый в тряпку кусок мяса. Оказалось, в Талице тоже жила семья эвакуированных ленинградцев и занималась тем же: меняла вещи на еду.

Был конец октября, морозы ещё не наступили, но со дня на день ожидался снег. Мы уже вторую неделю жили в горнице. Зойка по каждой мелочи шипела как змея, и было ясно: зреет очередной скандал. И он грянул...

Олег вернулся из клуба, который обычно был на замке, но именно по осени, когда заканчивалась страда, в клубе подводили итоги сенокоса и уборки урожая. Терехов награждал колхозников за ударный труд грамотами мамоновского сельсовета и даже картинами. А куда они колхознику? Как собаке карман. Кто-то развешивал их по домашним стенам, но у передовиков уж и стен не хватало...

Главной наградой и радостью для всех было кино: из Маслянино приезжала киноустановка. Если не было дождя, на стене колхозного правления натягивали белый экран, и петушихинцы все как один, от мала до велика с шумом и гамом рассаживались на принесённые с собой лавки и табуретки в предвкушении радости от лицезрения любимых артистов: Игоря Ильинского, Леонида Утёсова, Михаила Жарова, Валентины Серовой, Николая Столярова, Павла Кадочникова, Николая Крючкова... «Крутили» из года в год одни и те же фильмы: «Волга-Волга», «Подвиг разведчика», «Жди меня», может, ещё два-три. Кино было центральным

событием деревенской жизни, о котором потом судачили целый год.

После фильма под Петьки Татарникова гармошку там же в клубе или около правления заводили матанечку, и собравшиеся выпевали друг про друга всё, что насочиняли за лето, а то и прямо тут же на топотушке. Потом и матанечка была особым предметом судов-пересудов.

В тот памятный день, вернувшись с вечёрки, Олег смущённо рассказал, что Зойка опять пела про «дролечку», а насмешила всех тем, что поверх своего платья надела комбинацию на лямочках и в кружевах, которую выменяла недавно у мамы. Сначала все подумали, что это шутка, и хохотали по-доброму: так себе — «из-под пятницы суббота», как говорили петушихинцы про неряшливо одетых. Но когда Зойка, отплясав матаню в общем кругу, не сняла комбинацию и после этого, девчата стали перешёптываться и хихикать меж собой, подначивать Зойку... В круг выскочила известная пересмешица Настя Пономарёва.

Передразнивая Настю, Олег пропел девчачьим голосом:

Зойка Петьку полюбила,
Про девчачью честь забыла:
Вызвала овацию,
Одевши комбинацию!

Получилось у него так забавно, что мама рассмеялась.

— Ну а Зойка что?

— Шары выкатила, рот открыла и молчит. Матаня так и покатила со смеху.

А Настюха заново:

Раньше Зойка распевала,
Петь охотницей была,
На гармонщика попала —
Было чуть не понесла...

— Ну, это уже неприлично, — сказала мама.

— Да, конечно! — согласился Олег. — А тут кто-то крикнул: «А ну-ка, Зойка, дай песняка».

— Зойка вышла в круг, злая как рысь, — рассказывал дальше Олег. — Прошла один круг, другой, топотала-топотала, да и выдала:

Мне гармонщика не надо,
Я гармошку не люблю.
Не Петруха? Ну и ладно.
Я другого завалю!..

Зойке Олег подражал очень точно, ещё лучше, чем Насте, но мама на сей раз ничего не сказала, только головой покачала.

А Олег вошёл в раж:

— Думаешь, кто-нибудь застеснялся? Ничуть!
Матаня зашлась в хохоте.

Зойка всё кружила и кружила, сочиняла, видно, новый куплет, а потом выпела, как отрезала:

Ты, Настюха, как старуха,
Всё ходила с бадогом...
Полюбила лет шестнадцати —
Забегала бегом!..

— Ну и память у тебя, Олежек! — удивилась мама. — Всё враз запомнил.

— А что тут запоминать-то, мама? Это же не математика... Трынди-брынди.

Разобиженная Зойка вернулась домой сама не своя, с порога прошипела в сторону Олега, сидевшего у лучины с книгой:

— Поди уж всё растараторил, доходяга?

Никогда прежде Зойка не произносила этого обидного слова «доходяга».

— А в чём дело, Зоюшка? — спросила мама.

— «А в чём дело», «а в чём дело»! — зло передразнила Зойка маму. — А вот в чём...

И пропела частушку.

— Ой, да ничего особенного тут нет, Зоюшка, просто шутка. Мало ли что бывает... А комбинацию и в самом деле

поверх платья не носят, хоть она и красивая, кружевная... — начала было мама.

Зойка оборвала её на полуслове, сорвала комбинацию через голову, бросила в угол, выкричала нам всё, что мы уже слышали не раз. А тут и совсем из себя вышла, швырялась во все стороны тряпками, тарелками, а когда мама попыталась всё-таки что-то сказать, подскочила к ней с ухватом:

— Надоели до смерти! Зашибу!

На неё налетел Олег, они долго боролись. Мама встала, оделась:

— Ты куда, ма? Ночь уже, — закричал ей вслед Олег.

— К председателю. Так не может продолжаться.

Мама долго не возвращалась. Никто в избе не спал. Зойка с Ульяной тоже. Наконец открылась дверь и вошла мама, но не одна, а с председателем.

— Вот что, Зойка, — уймись. А то я т-те... найду управу.. — с порога прохрипел взъярённый Терехов. — Будет вот так... До весны завалюху, што насупротив твоей избы, колхозом подыдем, подконопатим, подведём под крышу. Ивановну с детьми туды переселим. А зиму они будут проживать тут, в горнице! — Терехов топнул об пол своей деревянной ногой. — Поняла? Цыц, сучка! Люди кровь проливают, а ты...

Уходя, Терехов так хлопнул дверью, что стена дрогнула, и вёдра в сенях загромыхали на крючках. Что такое наговорила мама Терехову, она не стала рассказывать, но глаза её были красными от слёз.

Видно, на этот раз Зойка и вправду что-то поняла, а может, просто испугалась. Зиму мы прожили относительно спокойно.

Изба, стоявшая напротив Зойкиной, прежде чем её начали приводить в божеский вид петушихинские старики, была «четырёхуголкой» — однокомнатной, именно завалюхой. Убогое строение, в котором когда-то жил одинокий петушихинский конюх Фёдор Пономарёв, умерший дав-

ным-давно и уже позабытый даже пономарёвским родом, почернело от времени, дождей и снегов, прогнило снизу и сверху, накренилось и могло развалиться по трухлявому брёвнышку в любой момент. Крышу снесло ветрами. Три крохотных окошечка без стёкол смотрели на улицу пустыми глазницами.

Не верилось, что эту рухлядь можно, как сказал Терехов, «поднять» и превратить в жилое помещение. Но за зиму деревенские старики поменяли в завалухе бревно за бревном, на верёвках и оглоблях подняли и выровняли стены, из толстых тесин настелили новый пол, положили потолок, утеплили его толстым слоем пакли, покрыли крышу старым серым тёсом, снятым прошлым летом с колхозного коровника.

Избушка была крохотной, но всё в ней было, как у всех: сени с лазом на сеновал и дверь в коровник, русская печь, полати, отчего потолок от входа до пол-избы был совсем низкий: всякий рослый человек, боясь зашибиться, проходил в переднюю часть избы, наклонив голову.

И двор получился такой, как у всех, хоть тоже небольшой: хлев для коровы и овец, в нём — насест для кур, сарайюшка для колотых дров и разного хлама, за нею — погреб для зимнего хранения картошки и овощей и, конечно, навес для сена.

За всю эту работу Терехов начислил старикам трудодни.

Едва блеснули по мартовскому насту первые солнечные лучи и начали подтаивать сугробы, а наша семья уже перебралась в свой угол. Мы с Ириной летом спали на сеновале, в холода, особенно зимой, — на полатах и печи, а мама с Олегом — на широких лавках вдоль стен. Меж окошками, с видом на дорогу, стоял сколоченный из двух широких досок стол, за которым мы обедали... Радости нашей не было конца.

Наконец-то пришла долгожданная весть от папы, который вот уже несколько месяцев не отвечал на мамины пись-

ма, и мы не знали, что́ подумать. Папа писал, что как только эвакуировал нас, отпросился добровольцем в действующую армию, был назначен командиром артиллерийской батареи в одну из дивизий Ленинградского фронта, стоявшую у Синявинских высот. Через несколько дней он был ранен. Лечился в госпитале, там ему вручили орден Красной Звезды. Теперь уже встал в строй и снова в боях. Обратный адрес — в/ч 3261. В письме — махонькая, три на четыре сантиметра, папина фотокарточка в гимнастёрке с орденом. На обороте фотокарточки надпись: «Аде седой от Миши седого». Да, за несколько месяцев папа поседел... Он спрашивал, как нам живётся. Из вопросов было понятно, что маминых писем папа не получал.

Всадник на белом коне

Отдельно от Зойки жилось нам теперь гораздо лучше, но чем ближе к маю, становилось всё голодней. Весна в сибирской деревне — время нехорошее: с каждым днём всё труднее хранить продукты. Март ещё ничего, обычно холодный. Но апрель, а особенно май — беда. Солнце греет жарче, сугробы тают на глазах. Мороженое мясо спешат доесть, чтобы не погнило; остаются, у кого была, только солонина в бочках, солёные огурцы, капуста и помидоры, стоявшие в кадках на морозе. С приходом тепла они плесневеют. Загнивают овощи, хоть в подполах внутри изб, хоть в специальных ямах на улице, обожжённых с осени огнём и едким осиновым дымом перед закладкой запасов по сушекам, чтобы извести всяческих зловредных жучков-червячков. Но талая весенняя вода опускается ниже и ниже, в яме становится влажно. Тогда овощи поднимают наверх, подгнившие отбрасывают в сторону, нетронутые порчей рассыпают на холщёвинах, подсушивают на ветру и солнце. Ямы вновь протапливают, прокаливают огнём и заново

засыпают овощи по сусекам. Но не надолго. Вскоре снова мокрота, гниль, перебор... Наступает момент, когда остатки годных для употребления овощей — морковь, свеклу, редьку, репу, турнепс и прочее ссыпают в сених, заносят в избы, особо охраняя НЗ — семенную картошку.

Весна 1943 года была первой в нашей деревенской жизни. Пришла беда, которой мы не ждали. Менять вещи на еду, будто сговорившись, деревенские отказались. Все и наотрез. И в Петушихе, и в Талице. Хотя и вещей-то у нас уже почти не осталось. Просто по доброте сердечной деревенские давали маме, как нищенке, кто кусок хлеба, кто несколько картошек и луковиц, кто пару яиц, кто крынку молока. Мама стала кормить нас два раза в день, утром и вечером, не досыта.

Как могла, помогала нам семья Нопиных, чья изба стояла в ряду татарниковских изб, рядом с нашей. Может, потому, что в семье этой росли двое детей, Илюша и Нюра, равные по возрасту мне и Ирине. Илюша Нопин выделялся из всех деревенских мальчишек силой и ловкостью. Это он защитил меня от Косого в день нашего приезда в Петушиху. Волосы, брови и ресницы у Илюши такие белые, что даже серая холщовая одежда на нём казалась белее, чем на других...

Дядя Володя, отец Илюши, был кузнецом, славился мастерством на все руки и мудростью, отчего к семье Нопиных относились с почтением и Татарниковы, и Пономарёвы. Те и другие частенько обращались к кузнецу за советом. По характеру был он из камня камень, суров с виду, до слов не охоч, но добр душой, и доброту свою нам, пацанам, выказывал не словами, а делами. Он и сам о себе любил говаривать: «И швец, и жнец, и на дуде игрец!» Бывало, сядет усталый на завалинке, а мы гурьбой облепим его, словно мошкara: «Дядь Володь, ну изладь нам...» — «Ну, чё вам?..» Встанет тяжело, сходит в свою слесарку, возьмёт кой-какой инструмент, деревяшек, гвоздиков и начинает мастерить.

Мы поначалу и понять не можем, что он задумал, а пройдёт немного времени, глянь — колясочка-коняшка на колёсиках стоит, а тронешь — катится; то мячик берестяной для игры сплетёт, то куклу из деревяшки для девчонок вырежет, да не простую: дёрнешь за верёвочку, а она и начнёт выплясывать, ручками да ножками коленца выкидывать. Тётя Анисья, мать Илюши, бывало, откроет окно: «Хватит ребятёшек забавлять! Ужин стынет... Неча баловать их...» А дядя Володя улыбнётся, ответит: «Кого ж ишшо бáловать? Стар хочет спать, а молодой — играть... Пускай позабавятся ребятёшки, потешатся...»

На фронт дядю Володю не взяли, хоть по возрасту подходил: у него не было трёх пальцев на левой руке. Говорил всем, будто в молодости промахнулся однажды в кузнице и разможил их вдрызг. Отрезали под корешок, до самой ладони. И всё равно работал кузнецом, уставал зверски, бывал порой раздражён до крайности — и уж тогда под его горячую и могучую руку лучше не попадайся никто — ни сын, ни дочь, ни жена...

Тётя Анисья была ласковая, добрая, ей любого пригреть хотелось. Иногда говорила: «На-ка, Илюша, отнеси-ка...» И совала сыну завёрнутую в тряпку еду. Илюша знал, куда нести. Но чаще сам Илюша, спрятав под лапотіной ржаные шаньги с творогом, кусок хлеба, варёные картошки, приносил их в нашу избу. Его сестрёнка Нюрка, лет шести, подкармливала Ирину. А та, не понимая в силу возраста тонкостей человеческих отношений, при каждой встрече с Нюркой лепетала: «Нюра, дай хлеба с картошкой».

Однако нопинская подкормка не спасала. Мы стали жить впроголодь.

— Так дальше не может продолжаться, — сказала однажды мама. — Вещи кончаются, выменять мы ничего не можем... Войне конца не видно... Скоро уже апрель... Нужен огород, нужна корова, надо заводить кур... Пойду к председателю.

Вернулась от Терехова мама, как всегда, зарёванная и растерянная.

Председатель сказал: «Земля колхозная. Вступайте в колхоз, тогда дадим огород. А как иначе? Допустим, корову купите, а где сено брать? Луга тоже колхозные. Вы единоличники, вам ничего от колхоза не положено... Как ни крути — надо вступать в колхоз». — «А зачем нам становиться колхозниками? Война закончится, мы уедем в Ленинград», — завершила свой рассказ мама.

— Надо жаловаться, — уныло сказал Олег. — Надо папе написать... Мы ж не сами сюда приехали, мы же эвакуированные, блокадники...

— Да, — решительно встряхнулась мама.

Слунявя языком чернильный карандаш, она тут же начала писать письмо папе на куске газеты.

А через неделю прошла почтальонша, принесла похоронки в две избы на дальнем конце деревни, одну — на сторону, где стояли избы Татарниковых, вторую — на сторону Пономарёвых. Бабий и детский крик поднялся в этих избах, покатился от избы к избе, становясь всё громче, и слился над Петушихой в жуткий вой. И когда дошёл до нопинского, Зойкиного и нашего дома, рыдала уже вся деревня. Ревели о тех, кто остался без сына или отца, рыдали и причитали о тех, кто еще воевал, но, кто знает, может, уже не живой. Каждый плакал о своём, от страха перед смертью и просто потому, что когда плачут все вокруг, хочешь не хочешь и ты заплачешь.

С этой почтальоншей, гонцом страшной вести, ушло мамино письмо на фронт...

...Я обещал рассказать о «чудесных» событиях, которые случались с нами иногда в эвакуации. Вот ещё одно.

Прошёл апрель. Снег стаял, сельчане стали копошиться в своих огородах, готовиться к весенним посадкам, поправлять покосившиеся под зимними ветрами и выюгами ограды, а ответа от папы всё не было. Мы грустили, питались тем, что

мне удавалось набрать в лесу: Илюшка Нопин научил меня находить на прогалинах косогоров среди прелых и мокрых от только что сошедшего снега коричневых листьев похожие на них коричневые грибы — сморчки. Из них получалась очень вкусная жарка, особенно если на сковороду плеснуть хоть чуть сметаны. Потом пошли пучки, гусинки, дидли, саранки, которые хочешь — ешь сырые, хочешь — вари. Мы жили на подножном корму, как животные, кое-как выживали, а письмо от папы всё не приходило, и с каждым днём, я видел, в маминой душе нарастала паника.

И всё-таки оно пришло, долгожданное. Папа писал, что он обратился в Маслянинский райвоенкомат и к Верховному главнокомандующему, просил помочь нам. Потянулись дни ожидания. Где она, эта помощь?

И вот однажды...

Вечерело. Мама хлопотала по хозяйству в избе, Иринка где-то носилась с подружками, Олег был в поле. Узнав, что Олег окончил ремесленное училище, мог работать на токарном станке и кое-что смыслил в технике, Терехов в марте почти силой отправил его в поселок Елбань, где находилась районная машинно-тракторная станция на курсы трактористов. Терехов сказал маме: «Пойми, Ивановна, тогда у вас пойдут трудодни! А так вы единоличники и дармоеды». Этот аргумент подействовал на маму, и она отпустила Олега на учёбу. Окончив месячные курсы, в свои шестнадцать лет Олег стал очень важным в колхозе человеком — трактористом, работал на колёсном тракторе ЧТЗ: три эти буквы означали, что машина изготовлена на Челябинском тракторном заводе. Уже давно, как и в тот день, Олег был в поле, пахал — колхоз готовился к весенней посевной...

Так вот, однажды под вечер я колол дрова, разжигал на улице костёр около избы. Вдруг что-то заставило меня глянуть на вершину косогора, с которой осенью сорок второго года Петька Татарников открыл нам чудесный вид на Петушиху. Там, на этой вершине, оставляя за собой клубы пыли,

бешеным галопом в сторону деревни летел на коне всадник в военной форме. Я обмер. Слёзы радости так и брызнули из моих глаз.

— Папа! Это папа! — закричал я и бросился на улицу.

А всадник был уже тут как тут, вздыбил белого коня рядом со мной. Нет, это был не папа...

— Где контора? Председатель? — требовательно спросил всадник. Его погоны отливали золотом, на груди блестели ордена и медали, левый глаз был перетянут чёрной повязкой, уходившей под фуражку с зелёным околышем. Он был молод и красив, как в кино.

— Где контора, спрашиваю? — снова крикнул мне, онемевшему от восторга, офицер.

— Да вон в той избе, где красный флаг!.. — закричал я, чуя, этот офицер от папы, что к нам прискакала папина помощь. Офицер хлестанул белого красавца-коня, взяв с места галопом, а я понёсся вслед за ним.

Вскоре у правления колхоза раздались выстрелы, а когда я подбежал к конторе, то увидел офицера и Терехова, стоявших в позе боевых петухов: наклонившись друг к другу и почти сойдясь лбами, они яростно орали, не слушая друг друга. У офицера в руке был пистолет, он то и дело палил вверх.

— Ты знаешь, что такое блокада? Нет? Я — знаю! Люди с голоду как мухи мрут! Тысячами! Я на Ленинградском фронте воевал, три раза блокаду прорывал! Вот!.. — хлопнул офицер по чёрной повязке на глазу. — Там оставил...

Терехов кричал своё.

— Ты меня на испуг не бери!.. Я тож кой чё видывал... Вот эту деревяшку, — он ударил тростью по своей деревянной ноге, — я в тайге чёли сыскал? Под Москвой ноженьку оставил! И медалями не трясил, тож имеются!.. Ты мне докүмент кажи, разрешение...

— Докүмент ему кажи, — ехидно передразнил офицер Терехова. Открыл планшет, выдернул из него конверт. — Вот тебе докүмент!..

А вокруг уже толпились люди, услышавшие выстрелы, особенно малышня, старики и старухи из ближних изб; поспешал народ и от дальних. В деревне не было ни одного ружья, их поотбирали милиционеры после ухода мужиков на фронт. Потому стрельба встревожила всех, как потом говорили, даже тех, кто слышал её в ближних полях.

Терехов распечатал конверт, вынул из него бумагу и стал вслух зачитывать текст.

— Так... Маслянинский военный комиссариат... такого-то числа... так... Приказываю выделить от колхоза имени Жданова семье лейтенанта Ильинского землю под огород — не менее пяти соток, корову, поросёнка, овцу и куриц — пять штук. Так... Военком... майор Ковалёв... — Тут Терехов сделал паузу. — Та-а-к! А ты, промежду прочим, капитан, а не майор... Это как выходит? — обратился Терехов к офицеру.

— А получается очень просто, товарищ председатель, — с язвой в голосе ответил капитан. — Я являюсь заместителем военкома! Тебе — мало? Я что — по собственной воле к тебе за тридцать вёрст прискакал? Я приказ выполняю. Вот тебе ещё «документ» — копия письма лейтенанта Ильинского, где написано «Феофанову», то есть мне! — «Решить». И подпись майора Ковалёва. А вот тебе козырь — копия письма лейтенанта Ильинского Верховному главнокомандующему товарищу Сталину. И резолюция — «Решить». Генерал-майор... такой-то... Подпись? Тебе и знать не надо. Ещё какой-нибудь «документ» нужен? А может, тебе сам товарищ Сталин должен распоряжение дать?..

Терехов был сражён наповал.

— Так пошто б не сразу... так мол и так... товарищ Сталин...

— Ох, и дурья ж твоя башка, председатель... Не может товарищ Сталин читать лейтенантские и прочие письма... Война!.. Мы и сами должны понимать на местах, что к чему.

Власть, народ. Так что пошли к семье лейтенанта Ильинского, к его жене. Где они живут?

— Я знаю, я! — закричал я. — Я сын лейтенанта Ильинского!..

Я стоял так близко от капитана, что от крика моего он даже дёрнулся в сторону, потом взял меня за плечи, присел и долго-долго молча смотрел мне в лицо своим единственным голубым глазом и становился всё грустней... Его красивое лицо как-то сразу постарело...

— А моих... троих... прямое попадание. Ты Кировский проспект в Ленинграде знаешь? Мы там жили... Ну, пошли.

Капитан взял под уздцы своего белого скакуна, председатель свою длинношею кобылу, и мы двинулись к нашей избе, а за нами и все до единого, кто стоял у конторы.

Из толпы доносились обрывки фраз: «Ты смотри-к, сам Сталин велел», «Да не Сталин вовсе, а генерал...», «Вот голова — до всего руки доходят...», «А выходит, чё лейтенант тож кой-чё сто́ит! Коли сам Сталин...»

Рождалась легенда...

Когда мы подошли к нашей избе и мама увидела всю процессию, она чуть не упала в обморок: как потом выяснилось, она была в подполе и не слышала ничего — ни как проскакал мимо офицер, ни выстрелов, а увидев рядом со мной человека в военной форме, в первое мгновение тоже приняла его за папу, а потом подумала, что этот человек в военной форме несёт плохое известие...

На виду у всех капитан Феофанов подробно расспросил маму о нашем житье-бытье, внимательно выслушал ответы, сделав какие-то пометки в блокноте, потом, взяв из рук Терехова листок с «постановлением» военкома, спросил строгим голосом:

— Всё правильно изложено?

Терехов утвердительно кивнул головой, но добавил:

— Только не дойную корову дам, а тельную... По дойным у меня всё спланировано под сдачу молока государ-

ству... А тельная даже лучше. Отелится — тут тебе и молоко, и телёнок. Лето пройдёт — мясо на зиму. Я Ивановне ещё картошки-скороспелки на семена подброшу. Всё остальное выдадим. И петуха вдобавок тож... Кто ж твоих кур, Ивановна, топтать будет — али соседский чужак?

По толпе прошёл негромкий хохоток...

— Так што хозяйствуй теперя, Ивановна, — заключил Терехов. Почесал затылок в задумчивости.

— Не знаю вота, чё с твоим огородом-то делать? Это всё ж таки пять соток, сплошной чертополох. Целина. Пройтись бы плугом, да тут-ко и трактор-то не развернётся. Да и гнать его с полей — один расход бензину.. — Неожиданно мысль Терехова приняла совсем иной оборот. — А чё, товарищи колхозники, подмогнём блокадным всем сообществом, туды-т твою, а? Тут и лопатами можно управиться, ежели всем гамузом навалиться? А? За два дни, ежели человек десять... А, старики? А, бабы? Малышня тож подмогнёт, траву оттаскивать в кучу будет? Будет?

— Будет! — откликнулись мы с Илюшкой.

Старики и старухи согласно кивали головами.

— По два трудодни начислю каждому, — продолжал агитацию Терехов. — Так што поутру, как управитесь по хозяйству, все как есть к Ивановне — с лопатами да граблями. Я приеду, проверю, однако давайте всё по совести, как себе. А теперь разойдёмся, однако, время ужин готовить...

Капитан всю эту сцену наблюдал молча, пожал на прощанье Терехову руку:

— Председательствуй!

— Да какой я председатель! — воскликнул вдруг жалостливо Терехов. — Конюх до войны, неуч. Читать-писать едва умею. А тут бумаги, отчёты, булгахтерия... Ночами книги разные осваиваю, сам себя образую. Да ещё нога, туды-т твою... На кобылу с земли не могу залезть, только с крыльца аль с пенька какого... Стыдоба. На дрожках-то у нас по колдобинам мало куда проскочишь, тут и сядешь...

Терехов помолчал. Глянул на капитана испытующе.

— А чё, Гитлер-то долго ишшо давить будет? Как там-то думают? — он ткнул пальцем вверх. — Чё скажешь?

— Ты в каком звании служил? — спросил капитан.

— Рядовой я...

— А что сказал Верховный главнокомандующий? Он сказал: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Вот тебе и ответ. Будем верить и служить изо всех сил, рядовой Терехов. Вот наша задача. Я вот верю. А ты?

— Дак я бы с радостью, дак... Всякое балакают...

— Э-э, Терехов! — протянул осудительно капитан, поправил кобуру пистолета на портупее, помолчал. Потом скомандовал:

— Исполняйте! Можете идти. Вы у меня на заметке!

— Слушаюсь! — неожиданно для себя вытянулся Терехов, хотел по привычке, видимо, щёлкнуть каблуками, да зацепился деревяшкой за землю и чуть не завалился набок. Все расхохотались, Терехов тоже. Возникшее было напряжение спало.

— Ах, какой красавец кедр вашу избу накрыл! — сказал вдруг, глянув ввысь, капитан. — Сколько ж ему лет? Сто? Двести? Вашей семье и в тайге шишковать не надо, с него одного по осени несколько мешков шишек навалится. Крышу берегите... Ну что, дорогие земляки, — обратился капитан к маме, — рад был видеть, до свидания! Если что, сигнализируйте. Привет, петушихинцы!

Легко вспрыгнул с земли в седло, сильно натянув поводья, поднял своего белого красавца на дыбы, длинным прыжком с места отправил его в галоп, улетел сначала в чёрный коридор тайги, потом мелькнул на вершине косяга и исчез...

Всё в нашей семье вроде бы наладилось.

Огород с грехом пополам с помощью петушихинских стариков и старух очистили от бурьяна, вскопали, пробороновили граблями вручную, засадили чёрную как смоль рых-

лую землю картошкой, морковью, свеклой, редькой, турнепсом, огурцами, помидорами, горохом.

И были в этом великая радость и своя беда. Мама уже вроде оправилась, да видно, не до конца. Это стало ясно, как только ей пришлось поливать и полоть огород, окучивать картошку, рано поутру выгонять в поле корову и овцу, чем-то кормить куриц, из которых только одна несла яйца, а остальные только кудахтали... А вечером встречать скотину, хлопотать по двору, готовить завтрак, обед, ужин и кормить нас с Ириной... Дела немудрёные, а сил на эту работу надо много. У мамы их не хватало. К вечеру она бледнела, еле двигалась, её качало от усталости. Олега мы давно в глаза не видели, он пропадал в поле: то пахать, то боронить, то культивировать, то трактор ремонтировать... Хочешь или нет, в свои восемь лет я должен был как мог помогать маме, особенно в огороде.

В Петушихе было два «казённых» питьевых колодца: из них брали воду для дома. А для поливки огородов — из Чёрной речки. От нашей избы до неё — не меньше полверсты, да ещё по косоугору. Лето в Сибири жаркое, дождей обычно мало, а потому каждый день грядки надо поливать утром и вечером, пока солнце не так печёт. Это была моя обязанность.

Пройти полверсты до речки с пустыми вёдрами — не труд. В два конца — верста. Десяток раз — десять вёрст, из них пять — с двумя вёдрами воды на коромысле. Да по песчаной дорожке, да по крутому подъёму от речки к огороду, да с вёдрами, висящими до самой земли, волокущимися по песку и траве, да с колыхающейся в вёдрах водой, кидаящей тебя из стороны в сторону, то вправо, то влево, — не фунт изюма. Частенько, так и не добравшись доверху, я спотыкался, падал, вёдра катились вниз к речке... И всё начиналось сначала... И так — утром и вечером, с начала июня до середины июля, пока овощи не наберут силу. Дождя ждали как манны небесной...

К концу дня мама и я ухлёстывались до изнеможения, а есть было нечего, хлебали за ужином неведомо из чего сотворённое мамой варево. Иринка брындилла, бросала ложку, ныла, не хотела есть, мама уговаривала:

— Потерпите, детки... Говорят, на днях скороспелку можно будет подкапывать... А мне каша нравится. И когда ты, Игорёк, успел нарыть саранок?.. Вкусно.

Так и помню её, мою маму, сидящую за столом спиной к окошку, — среднего росточка, сухонькую, с аккуратно схваченными на затылке седыми волосами, с глубокими глазницами и большими серыми глазами, из которых лился на нас с Ириной поток ласки и скрытой горечи...

Мама делала для Иринки вид, будто ей и в самом деле нравится месиво из саранок — клубней, видом похожих на чеснок, которые сидят глубоко в земле, а над землёй возвышаются высокими стеблями с гроздьями красивых сиренево-пятнистых цветов... После утренней поливки я брёл в луга и леса — рыть саранки, искать дидли, гусинки, пучки... Росли они не всюду и не так быстро, как я их рвал и выкапывал, потому уходить каждый день надо было всё дальше, в новые места...

В сентябре мы собрали с огорода самый богатый во всей Петушихе урожай. Отдохнувшая за долгие годы, с усердием возделанная земля возблагодарила нас сполна. На Олеговы трудодни нам выдали по мешку пшеничной и ржаной муки, соль, сахар, другие продукты. Деревенская жизнь налаживалась.

Так мы жили-поживали. И всё бы ничего, но однажды осенью этого самого сорок четвёртого года мама сказала за ужином: «Что-то долго нет писем от папы». С того вечера в доме поселились тревога и тоскливое ожидание очередного появления почтальона...

Это был страшный для Петушихи год. Все понимали: «Гитлер капут», мы побеждаем: Ленинградскую блокаду прорвали, под Сталинградом немцев разгромили. Но один

за другим погибали петушихинские мужики «смертью храбрых» уже за польские, венгерские, чехословацкие города и сёла. Одну за другой почтальон нёс и нёс похоронки... Всё ещё стоял в осаде Ленинград, до Берлина шагать, да шагать, а живых петушихинских бойцов на фронте оставалось всё меньше, уже единицы...

Петька Татарников

Единственным другом у Олега был в деревне Петька Татарников. А больше и не с кем было ему дружить — одна малышня до пятнадцати лет. Петушиха была полным-полна девчонками и зрелыми девушками, но Олег не водился ни с одной, стеснялся, быть может, из-за цинги и своей худобы.

А Петька — это да! Первый парень на деревне — гармонист, певун и всеобщий любимец. Он с первых дней проникся к Олегу симпатией, с открытым ртом слушал его рассказы о Ленинграде и Металлическом заводе, о блокаде и многом другом, чего никогда не видывал, о чём никогда не слыхивал. А всё же в отношениях с Олегом старался держать верх: в деревенской жизни тоже было премного неведомого и даже таинственного для городских.

Но после того как Олег очухался от блокады, избавился от цинги, а главное — окончил в Елбани курсы трактористов и стал работать на тракторе, семья наша в Петушихе обрела повышенное значение, на Олега смотрели уважительно все от мала до стара — этот семнадцатилетний паренёк водил трактор! Знал его устройство, мог починить, когда он ломался! Такое, кроме него, во всей деревне не умел никто... Тут положение дел в отношениях закадычных друзей малость изменилось: в поле Петька оказался «на прицепе» у Олега; весной — на сеялке, осенью, во время уборки урожая — на комбайне.

Оставался королём, гоголем ходил Петька только на вечерах и матанях. Тут у него соперников не имелось.

Работа в поле так сроднила Олега с Петькой, что стали они друзьями не разлей вода, как братья! Но зимой, когда Олег уезжал в Елбань, на машинно-тракторную станцию ремонтировать свой ЧТЗ, Терехов переводил Петьку работать на скотный двор, и у того образовывалось довольно свободного времени, он не знал, чем занять себя. В такую пору Петька часто заглядывал к нам домой — то маме по хозяйству поможет, то со мной поболтает.

Со временем сделался Петька для нашей семьи самым близким из всех петушихинцев, почти родным человеком. Для меня дороже Петьки был только Илюша Нопин...

Что Петьку тоже призовут в армию, как только ему исполнится восемнадцать, понимала вся Петушиха, а всё же казалось всем, что до этого момента ещё далеко.

И вот этот тревожный и печальный день настал... Принесла почтальонша призывную повестку Петьке чуть ли не день в день, когда ему стукнуло восемнадцать, а Петька-то в поле, на комбайне, рожь с Олегом убирают.

Забрал повестку раздосадованный Терехов, сел в дрожки и помчался в поле: через два дня Петьке предписано было явиться в Маслянинский райвоенкомат. Вернулся председатель в Петушиху с Петькой, а Олегу строго-настрого приказал: «С поля — ни ногой!..» Вот-вот ожидалось сентябрьские дожди — каждый час дорог.

Распрошались друзья с большой горечью прямо у трактора, обнялись и долго простояли так, уронив слезу...

Весть о том, что Петьку Татарникова на фронт забирают, разнеслась по деревне молнией.

Встревоженная и притихшая, Петьку провожала вся деревня. Последний зрелый парень уходил на войну. По такому случаю Терехов отдал для поездки в Маслянино свои председательские дрожки, велел запрячь в них самую ходкую молодую кобылу, а править усадил старшего Татарни-

кова, Петькиного деда. Навалили селяне в дрожки всякой всячины — ешь не хочу. В корзину четверть «косорыловки» поставили для угощения новых друзей-товарищей. Стар и млад встали у своих калиток, говорили что-то проходившему мимо причепурившемуся хмельному Петьке, только Петька никого не слушал и не слышал, а, склонив свою огненную шевелюру на заливистую гармонь, во всю ширь тянул её зелёные меха, наяривал одну за другой разные мелодии, да не больно весёлыми выходили они. Петька пел:

Ой, вешун, да прилетел,
Ты вешун, да птица-ворон,
Да чё кружишьсся надо мной?
Полетай, вешун да ворон,
Да к себе лучше ты домой!..

Остановился Петька около нашей избы, подошёл к маме, припал к её плечу, говорил:

— Не печальтесь, Ивановна, я скоро вернусь... Вот добьём немчуру проклятую!..

А справа, слева и позади Петьки шли растерянные петухинские девчата, облепили его, будто красный куст калиновый, павший на зелёный тальниковый тын... Все как есть, приубожившись — понадели бёлы платья, полушалки и косынки алые, голубые, синие; кудри понавили, глазки полные слезами к земле опустили, вздыхали, подходили и целовали Петьку очерёдно, не таясь. Да и кого таиться? Всё про всех в деревне ведано... Изревновались, устали прекать друг дружку: Петька-то на всех один.

И только мы, подростки да малышня, забегая всей гурьбой поперёд провожания, с любопытством слушали и наблюдали взрослые откровения, перешептывались меж собой, прыскали стеснительно в ладошки с неясным пониманием происходившего.

Был Петька ушлый до девок, да и девки липли к нему, словно мухи на мёд, а потому, что хорош сам собой, гармонист, певун, а до сей проклятой поры к тому ж единственный

парень на деревне, кто был не только в целовальники гожд... Может, потому особо нравилась иным девчатам игра «Бей-бежи!», на которую собирались вечерами по воскресеньям раз-два в месяц за околицей, совсем недалеко от нашей избы.

Игра-то простая, но со сладким тайным смыслом: встанут девушки и парни в два рядка, парами, а кто-то один, «ведущий» (парень или девушка) проходит сквозь ряд, хлопает по руке понравившейся особы, убегает, пока силы есть, а когда их как бы уже нет, приостанавливается, как бы запыхавшись, сдаётся, ну а дальше — у кого какая задумка была: пробежаться, погулять, пообниматься иль... мало ли чего... Ну а оставшийся без пары вновь становится «ведущим». И всё повторяется...

Война внесла перемену и в эту забаву. Когда все парни ушли на фронт и Петька остался единственным, по девчачьей мысли, достойным их внимания из всей мужской породы петушихинцев, первым «ведущим» в этой игре всегда назначали его, только убегал теперь не «ведущий», а Петькина избранница.

И вот наступал долгожданный вечер, и начиналась игра...

Только тронет Петька деваху, та с ходу такого маху даст, только пятки засверкают. Ну а Петька для фасону бежит за ней, как бы догнать не может. А как только из виду исчезнут, Петька хватъ деваху под мышки... Вот в этом и состоял тайный смысл: бежать-то бежали, целовать — целовались, а дело заканчивалось по-разному...

Иногда Петька убегал и не возвращался долго. Тогда девчата, поиграв меж собой в догоняшки, с песнями расходились по домам. Но чаще Петька возвращался с досадой на лице, снова выбирал себе «дролю» и уносился с ней в сумерки быстро падавшей на деревню ночи... Все про всё знали до единой девчонки, да никто ни на кого не обижался...

А тут случилась у Петьки большая любовь с Варенькой Пономарёвой... Перестал Петька играть в «Бей-бежи». И Варенька стала совсем другой, ещё красивее...

Вот и теперь Варенька шла, подцепившись под левую Петькину руку, но так, чтоб не мешать ему наяривать на гармошке, а остальным девчатам остался только правый Петькин локоть...

Шли рядом два старика, и один говорил другому:

— Хорош парень вырос, а? А ведь ребятёнком шибко урослив был, всё по-своему гнул, отца не слухался, дак Фёдор ему иногда таких чертей давал, чё на задницу апосля три дни не садился, клопов давил, да в окно глядел...

А Варькина подружка, прижимаясь к Варьке, а мимолётно и Петькиной шевелюры касаясь, говорила во всеуслышание:

— Да не тушуйся ты, Варя, даже-даже, возвернётся он! Петька этакий вёрткий, чё никака пуля его не споймат!..

— Да-а! — жалобно отвечала Варя. — Прошка вот гундо-сит одно и то ж: «Ой, Варька, ой, Варька!..» Каркат и каркат, как ворона.

— А Прошка, чё с него? Если б дарованье было, он бы про друга тако не сказал.

— Пустышный разговор, лишку дал Проша, — со смешком молвил всё слышавший Петька. — Он к Варюхе клин бил, да получил отказ. Вот и каркат... Длинный вымахал, а самому едва шешнадцать... Возвернусь я, возвернусь, Варюха, не забудь про давешний наш уговор...

— Как забыть мне, Петенька, — ластилась Варенька к любимому плечу..

Так прошествовала деревня мимо нашей окраинной избушки, прошла притаёжный луг, взобралась на полную высь косогора, с которого видна вся лежавшая внизу Петушиха. Тут Петька остановился, лихо рванул меха:

Сёдни дома, завтра в танке —
Так уж жись устроена-а!..
Не печальтесь, девчонки,
Скоро кончится война!..

И вдруг закусив губу, отошёл Петька от селян в сторону, покачал своей огненной шевелюрой и медленно, так грустно проиграл и пропел:

Кудри мои рыжи, очи мои светлы,
Травами, бурьяном да полынью зарастут.
Кости мои белы, сердце моё смело
Коршуны да вороны по степи разнесу-у-ут...

Постоял, отвернувшись ото всех, словно слезы прятал, а оборотился с улыбкой на лице, только невесёлой вышла эта улыбка... Закинул Петька гармонь на плечо, поклонился всем в пояс, склонился отдельно перед родной Петушихой, подбежал к дрожкам, вскочил на передок, выхватил вожжи из рук деда, крикнул «Прощевайте!», хлобыстнул кобылу, и в одну минуту дрожки скрылись в щель таёжной темноты, только их и видели...

Постояла деревня, помахала вослед столба пыли от Петькиных дрожек, стала в грусти и печали молча спускаться вниз по косогору.

Не унимались старики.

— А в дальности девки были скромны, взамуж шли выдержанные, неповеданные. Жениху радость, родителям почёт. А ноне?.. Глянь, Петьку облепили... Прямо мухи на мёд. Срамно видеть...

— Э-э, старый хрыч!.. Про себя молодого забыл? Раскудрель твою!.. Глянь, девахи-то какие! Выгуль-девки! Одна другой забористей! А почти все уж пожилые, за двадцать и боле. Чё ж им, старыми девами жись проживать?..

— А не по мне тако, Федюха!.. Спана девка кому нужна?

— Э-э, да ты слепошарый, чё ль? Женихаться-то — с кем? Все парни погибшие в боях... Теперь и Петька...

— Оно, конечно, так... А «блокадный»? Рулит трактор, стал быть, здоров... Теперь держись, паря! Разохотятся девки, сдёрнут всем гамузом с тарахтелки...

— Вот!.. А то «спана девка», «спана девка»... Живые ить...

Деревенские будни

Шли годы... Мама освоила деревенский труд, стала заправской крестьянкой... Нет, слово «баба» к маме никак не вязалось, она и ходила-то не по-бабьи — не косолапила, не горбилась, а ставила ногу, как балерина, с небольшим вывертом носков наружу; говорила на литературном языке, и хоть местный говор понимала, всё ж спрашивала селян и отвечала им в разговорах на свой лад, и тогда не все понимали её, и она, как Петька нам при первой встрече пояснял петушихинский словарь, переводила некоторые слова и выражения с «ленинградского» на «петушихинский», и наоборот. Ругала меня с Иринкой, когда мы выражались не «по-нашему», а «по-ихнему».

— Вот вернёмся в Ленинград, вас никто не поймёт. Дикари дикарями... — наставляла мама.

Петушихинцы подметили мамин норов и не то чтобы осуждали её, но уже только поэтому за своих нас не считали, мы оставались для них «блокадными», «ленинградскими», «вакуированными». Нет, никакой неприязни к нам не было, но незримая полоса лёгкого отчуждения всё ж существовала. Если кого-то из малолеток посылали к нам с просьбой, говорили: «Поди к ленинградским», или: «Спроси у блокадных». Имена наши — «Аделия», «Олег», «Игорь» и даже «Ирина» — казались петушихинцам чудными. Кого ни спроси: «Как тебя зовут?» — в ответ слышалось: Ванька, Петька, Федька, Манька, Нюрка... И всё в таком роде. Даже коров называли распространенными в деревне именами людей. Когда свою тёлку мы назвали Зойкой, как бы в отместку за злые проделки нашей первой хозяйки, так она, вместо того чтобы обидеться, выразила нам благодарность: коровью кличку за честь приняла! Вот и пойми их, деревенских... В Петушихе друг друга звали в основном по именам либо, когда хотели уважить или подмазаться, по отчествам... Маму в таких случаях именовали «Ивановной».

Сказывалось, как ни странно, даже то, что Пономарёвы и Татарниковы слегка недолюбливали друг друга всей массой каждого из родовых сообществ. Иногда хозяйки то одной, то другой избы по вечерам начинали вроде беззлобно переругиваться через дорогу, но вскоре к ним по обе стороны деревни подсоединялись соседские, и поднимался такой ор, что начинали лаять собаки, и птицы, поднявшись ввысь, кружили и тоже кричали как оглашенные. До драк, которые, по рассказам петушихинцев, случались в ранешние времена, не доходило, да и драться было некому: все драчуны стали бойцами Красной армии и дрались теперь за всю страну и за Петушиху в целом. Доброго и общего в душах петушихинских жителей всё ж было много больше, чем обид и зависти.

А подумать, так и ссориться было не из-за чего. Ну и что с того, что Пономарёвы — основатели деревни? Долгое проживание в замкнутом таёжном пространстве, в отрыве от бурных общественных перемен образовало в них свой, особый характер и нрав. Они ходили не торопясь, говорили негромко, ели не быстро, ввысь головы не задирали и сердились редко, а всё больше смотрели по сторонам да вперёд; на свою судьбу не жаловались, но и хвастаться не любили. От староверов в них остались многотерпение, деловитость, во всём они ценили порядок, работали усердно и при нужде, и при недостатке, людьми были не обидчивыми и других обижать не охочими. Но если их задевали всерьёз, постоять за себя могли, не жалея сил.

Революцию семнадцатого года Пономарёвы приняли с безразличием: царь их староверческой памяти был противен. И даже сталинская коллективизация не особо потрясла пономарёвские души и обычаи, ибо жили они во все времена соборно, небогато-небедно, а потому большевики их сильно не тревожили — раскулачивать было некого. И взбунтовались пономарёвские на пару дней только однажды, когда ночью в восемнадцатом году кто-то поджёг их

церквушку, и она порохом сторела у всех на глазах, а новую отстроить не разрешили. Вместо церкви быстро поставили школу.

И даже теперешняя война поначалу оставалась для Пономарёвых понятием отвлечённым, пока на фронт не призвали одного за другим десять их красавцев, а потом одна за другой пошли похоронки...

Первожители села, когда оно ещё звалось Пономарями, давным-давно были на том свете; книг родовых никто не вёл, так что имена предков помнили до второго-третьего колена, а копни поглубже — сплошная темень. Да и плодились Пономарёвы почему-то год от года всё хуже, их род сокращался, зато Татарниковы множились быстрее и уже давно составляли в селе большинство населения. Потому и полагали они, что деревню надо именовать «Татарниково», а не «Пономарёвка», но встречали со стороны пономарёвских сильный отпор. Зато про «колхоз имени Жданова» обе стороны и слышать не хотели, однако мысль эту высказывать вслух побаивались. Сошлись на том, что деревню надобно звать Петушихой.

В соседских сёлах между тем все и знали только деревню Петушиху, хотя в Мамоновском сельсовете и райцентре Маслянино на всех официальных бумагах значился колхоз имени Андрея Александровича Жданова — одного из партийных вождей того времени, секретаря Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) и одновременно — руководителя Ленинградской партийной организации.

Из-за чего весь сыр-бор разгорелся и противостояние продолжалось десятилетия? Сказать смешно. Но ведь так было. И нашей семье от этого приходилось несладко.

Олег дружил с Петькой Татарниковым — за то его сторонились пономарёвские. Маме помогали пономарёвские старухи — за то татарниковские, если она вдруг обращалась к кому-то с просьбой, с ехидцей говаривали: «А ты, Ива-

новна, подь-ка к Маньке Пономарёвой — она всё знат, всё имет... А мы чё? Мы — Татарниковы...»

Отчего происходило такое? Может, от беспросветной скуки. Советская власть мало что изменила в жизни людей, населявших Петушиху — островок посреди океана тайги. Но остров виден хотя бы со стороны, к нему можно добраться на лодке, а то и вплавь. А между большинством деревень Маслянинского района в ту пору, по сути дела, не было торных дорог. Даже вроде такой — лесной, в рытвинах и ухабах, по которой мы ехали от Маслянино до Петушихи. В непролазной гуще деревьев, кустов и трав в человеческий рост были тропы, называвшиеся дорогами. По ним можно было пройти или проехать верхом на лошади, и с трудом — на телеге. Существовали также таёжные просеки, которые можно было бы превратить в дороги, если бы выкорчевать пни от спиленных деревьев, пройтись бульдозером по буграм и канавам. Но до этого дело не дошло.

Просеки обозначали направления в сторону той или иной деревни, по которым можно было двигаться пешком или на телеге, объезжая пни и колдобины, рискуя завалиться в какую-нибудь яму и сломать себе шею. Летом и осенью по этим «дорогам» шли и ехали многими часами. Зимой и до стаивания сугробов они становились непроходимыми. Жизнь в Петушихе замирала, шла в основном в пределах избы: готовили еду, ели, спали, бегали во двор по нужде, само собой, работали по хозяйству: ухаживали за скотиной и птицей, выезжали в поле за сеном, в лес за дровами, когда кончались запасы.

Весной, летом, осенью режим жизни менялся, но не слишком: земля, скотина и птица крепко держат человека. От рассвета до заката одно и то же: работа, работа, работа... Газету «Правда» два-три раза в месяц почтальон приносил только в правление колхоза и в школу.

И так — изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Люди тупели, глупели, жизненный интерес их замыкался

в примитивном бытовом круге и угасал; они опускались душой, внешним видом и телом, быстро старели.

Жизнь петушихинцев была наполнена языческими обрядами и мистикой.

Здесь многие веровали в то, что в лесу водится леший — «дедушка-боровой», а в каждой избе живёт «дедушка-соседушка» — домовой. Живёт у кого за печкой, у кого в подполе. Считалось, что в доме сусёдко — главный хозяин. Если суседушко-доброхотушко доволен жильцами дома, добро-богатство в этом доме не переведётся. Никто суседку в глаза не видывал, но сказывали, что сам он маленький, мохнатый, весь шерстью оброс, а на голове у него, дескать, горшок наброшен. Коли выпадет кому счастье, и суседко на глаза покажется, колоні его батожком по горшку, из него денежки-то и посыплются. Суседко способен собакой иль котом обернуться, нашкодить может, если станет шастать в подполье меж крынок с молоком; или за печкой начнёт шебуршить и ворошиться, тогда всю ночь никто не заснёт. Добрый-то он добрый, а жуть, да и только!.. Сердить суседушку нельзя... Кого он невзлюбит, тех щекочет да щиплет. А возлюбит кого, бывает, ночью ляжет к нему на грудь и гладит своей мохнатой да мягонькой лапкой. Быть добру..

Верили деревенские в сглаз, заговёр от болезни и прочие чудеса. Отчасти и потому, что жили в Петушихе, как и говорил нам Петька Татарников в день поездки из Маслянино, две пономарёвского рода сестры-старухи, которых деревенские звали «ка́ркалками» и дружно побаивались. Одна из них — бабища невероятных размеров, другая — маленькая, сухонькая, лицо сморчком. Обе в чёрных одеждах, головы затянуты чёрными платками, только нос да глаза видны. Их опасались пуще лешего: они и порчу, и сглаз могли навести, и приворожить. У кого овца пала, корова приплода не давала иль в семье нелады, перво-наперво косились в сторону со́гры, где стояла их изба, — места неприятного, сырого, кочковатого, поросшего кустарником, в основном тальни-

ком: «У-у, это кáркалки изорóчили», то есть сглазили. К семьям своим их никто не привечал, да они и сами редко появлялись на людях. Но когда приходила беда, звали всё же на помощь кáркалок — а кого ещё? Только Господа Бога. Но ближе кáркалок, все это знали, к Богу никто в Петушихе быть не мог: только они истово веровали, крестились, блюли все церковные праздники.

Существовали в деревне игрища и забавы, оставшиеся петушихинцам, надо думать, в наследие от дальних старообрядцев. Все они были связаны с религиозными праздниками: Рождеством, Троицей, Святками, Пасхой, Масленицей, праздником Ивана Купалы, Ильиным днём. Трудно сказать, как много священного смысла сохранилось в этих играх и увеселениях, но кто-то в Петушихе, возможно, хранил святцы — церковную книгу с полным означением всех дней жития Христова и памяти святых по месяцам года. Да и не столь важно было знать, по какой причине в этой глухомани случались такие праздники, главное — они происходили ежегодно, несмотря на суровую военную пору, формальные запреты и антирелигиозную пропаганду, которая вряд ли докатилась до Петушихи во всей её последовательной несуразности и жестокости. Но то, что церковь в селе снесли, а иконы из изб поубирали, — было зна́ком, понятным для всех.

И всё-таки большинство женщин, особенно молодых, верили в гадания и в ночь под Новый год гадали — главным образом о будущей судьбе и о любви. Что это было — обряд или забава? Никто не задумывался. Чтобы приснился суженый, обсыпали себя овсом с разными приговорами, клали под подушку кольцо и ключ — символы любви и брака. Гадали глухой ночью в бане, ставя одно зеркало против другого, и при тусклых огнях свечей призывали к себе суженого-ряженого, гляючи не мигая в одно из зеркалец — не покажется ли какое видéние? Гадали по слуху: втыкали в снег кол и вертели его, сиюсь услышать в скрипе имя же-

ниха. И гадать-то всё меньше смысла становилось: уходили парни на фронт, погибали, и уже не на кого было гадать, а всё ж гадали...

Ярче других помнится мне время мая — праздник Весны, когда петушихинцы в одно из воскресений собирались все вместе, стар и млад — мужики, бабы, девчата и девчушки, парнишки и мальчата, все без разбора, кто хотел, гурьбой шли в рощи и тайгу, пели песни, плясали, а повеселившись вдоволь, девчата находили рядом две плакучие берёзки, начинали обряд кумления — загибали обе берёзки в круг так, чтобы образовались венки, а затем попарно целовали друг друга сквозь эти венки, что означало — теперь они стали зваться «кумушками», и отныне ссориться и браниться меж собой становилось для них великим грехом...

Были дни по весне, когда все петушихинцы и даже домоседы Пономарёвы навещали друг друга, обменивались поцелуями и просили прощения, если словом или делом кто-то кого обидел, а даже и случайно встретившиеся на улице говорили всегда одно и то же: «Прости меня, Бога ради», а в ответ звучало также одинаковое во все года: «Бог простит, а ты меня прости...»

А в дни Пасхи во всех избах красили куриные яйца. Взрослые и дети обменивались крашеными яйцами, говоря: «Христос воскрес!» и слышали в ответ: «Воистину воскрес!..» Ходили друг к другу, особенно мальчишки и девчонки, вели такую игру: стукались носиками этих яичек, и чьё разобьётся, тот проиграл; выигравший забирал его себе и, бывало, наколачивал штук по десять-пятнадцать. Чаще всего, чтоб никому обидно не было, эти яйца, битые и целые, съедали тут же, кто сколько мог.

А потом начиналось катание с горок на самодельных салазках и «катушках», которые мы мастерили сами из досок, сильно закругляя их по краям, низ обмазывали жидким лошадиным или коровьим навозом, замораживали на сильном холоде, а потом поливали водой опять же на морозе,

и «катушки» неслись с горок по цельному снегу, обгоняя салазки, потому как им не нужна колея.

В конце июня, в день Ивана Купалы, в воскресный день вечером много народу собиралось за околицей, недалеко от нашего дома. Разжигали костёр, и начиналось прыганье через огонь. Было поверье: кто выше прыгнет, у того лён и конопля выше вырастут. Смех и отчаянный визг звенели в вечернем воздухе часами, разносясь вдоль Чернушки на целые километры.

Наша семья ни лён, ни коноплю не сеяла — на пяти сотках не разойдётся. Но в прыганьях этих я участвовал с удовольствием, и может, потому дикий куст конопли, росший рядом с нашей избой, был всегда высок и густ. Умотавшись от беготни, всей мальчишечьей ватагой мы нередко усаживались под этим кустом, болтали бог весть о чём, и неожиданно один за другим, помимо воли, начинали засыпать, и спали долго и крепко часами, не понимая, что конопля — наркотик. Ветерок нёс с конопли по воздуху пыльцу, которой мы дышали. Потом «отчего-то» болела голова...

В Петушихе имелись старики, дальше своей деревни нигде не бывавшие, даже паровоза не видевшие. Полуторка, иногда проходившая через Петушиху из Елбани в Маслянино и обратно, становилась событием. Шум автомобильного мотора, едва слышимый, возбуждал деревню, особенно детвору и подростков. Мы сбегались к дороге, и шофёр, увидев нас, останавливал машину, командовал: «Залезай!» Мы сыпались в кузов горохом, шофёр поддавал газу, полуторка неслась вдоль деревни по пыльной и ухабистой дороге, распугивая кур, уток и гусей. Заполошно кудахтая и гогоча, хлопая крыльями, птицы разбегались в разные стороны, свиньи, лежавшие в не высохших еще от прошлого дождя огромных лужах, лениво поднимали морды и глядели вслед уносящемуся автомобилю, хотя кроме столба пыли ничего уже не было видно.

Широкая земляная полоса между рядами пономарёвских и татарниковских изб называлась в Петушихе «дорогой». В жаркую летнюю пору под колесами телег, копытами лошадей, коровьих и овечьих стад полоса эта разъезживалась, растапывалась и становилась толстенным, сантиметров в тридцать слоем пыли. Когда начинался сильный ветер, пыль поднималась вихрем и засыпала избы, проникая в окна и двери. В проливные дожди, особенно весенние и осенние, пыль превращалась в глубокий слой чёрной грязи, в которой вязли телеги, овцы, гуси и куры. И даже люди, пытаясь перейти с одной стороны деревни на другую, порой оставляли в этой земляной жиже свою «обушу»...

Со временем одежда, в которой мы приехали из Ленинграда и привезли с собой, изнашивалась, и мы, как и все деревенские, стали одеваться в холсты. Мама и я научились трепать лен, готовить и чесать кудель, прясть на прялке грубые и тонкие нитки, ткать льняное полотно на самодельном ткацком станке, который нам давали на время Нопины.

Как и все, летом мы стали ходить в основном босиком, отчего ноги мои постоянно были в цыпках, или в лаптях с холщовыми онучами и веревочными подвязками; осенью и весной — в галошах с более толстой подверткой, а зимой — в пимах. Чтобы дольше носились, я приноровился обтягивать носок и задник пимов кожей, а подошву, когда она продырявливалась, подшивал дратвой из голяшек старых пимов. Научился готовить вар, прясть нить для дратвы и смолить её, вырезать задники и подошву, подшивать пимы с помощью кривого шила.

В восемь лет я стал ездить верхом на лошади без седла, научился заводить её в телегу и запрягать — надевать узду и хомут, который с трудом поднимал, мог затягивать супонь, закреплять оглобли телеги. Умел косить траву, ворошить и сгребать сено, подавать его вилами наверх стога или скирды, «вершить» их. Вспахивал огород, сажал картошку, собирал её и другие овощи; готовил и прогревал яму под

овощи так, чтобы зимой они не погнили. Знал, как выбрать в лесу годные для топки деревья, валил их топором, пилил на чурки, колол на поленья... Деревенские друзья-товарищи научили меня изготавливать «серянки» — самодельные спички, набирая серу из камеди лиственниц; сохранять в печи уголёк до утра так, чтобы при этом ночью не угореть; добывать огонь с помощью кресала и трута, а ещё — трением друг о друга кусков дерева — «деревянный огонь», что много трудней; определять время по солнцу, погоду — по приметам (по полёту и поведению птиц, закату солнца, туману и росе на траве); ориентироваться в лесу по наростам на деревьях; днём — по солнцу, а ночью — по звёздам; мастерить лыжи из тонкой смолистой еловой доски... Ах, как хорошо бежали они по снегу в мороз!..

Многое постиг я и своим горьким опытом. Несколько раз до мурашек по коже, со страхом часами блуждал в тайге, не находя из неё выхода. Однажды больше суток.

Случилось это весной, в конце мая, когда уже отошли цветы огоньки... В тот день было тепло и солнечно. Я пошёл в поля в поисках съедобных растений — дидлей, пучек, саранок, хотя по времени было ещё рановато: май в Сибири, как и всюду, месяц весенний, но неустойчивый, колготный — то солнце припечёт, то вернутся холода, а то и морозец ударит, снежок выпадет. Но природа уже проснулась — трава росла, листья на деревьях распускались, птицы вили гнёзда, начинали высиживать птенцов.

В тот год май был устойчивым, и можно было надеяться на удачу. Две корзины на ремне через плечо, нож за пояс — и вперёд.

Прошёл луга, миновал несколько колков — островков берёзово-осинового леса, и всё без толку. Трава уже выросла почти мне по пояс, а нужное не попадалось: дидли и пучки, особенно саранки, растут не всюду. Сожалея, что пошёл в нехоженные места, я всё же не терял надежды, да и было поздно возвращаться, протопал уже километра три. Тут вда-

ли завиднелся урман — пихтовый лес вперемежку с елью, кедром и осиной, настоящая тайга. Здесь всегда и среди бела дня сумеречно, влажно и прохладно, даже в самую что ни на есть сибирскую жару. «Дай-ка, загляну сюда, — подумалось. — Вдруг в этой прохладе ещё не извелись сморчки?»

И не ошибся. Уже на опушке урмана я нашёл семейство грибов и нарезал сразу чуть не полкорзины. Вдохновлённый, двинулся в глубь леса. Сморчки, чёрт их побери, хоть и не часто, попадались во мху, среди лишайников и папоротника, то тут, то там, то слева, то справа... Вертясь волчком, я кружил меж деревьями, углублялся в темнохвойную тайгу всё дальше и дальше. Пока не уткнулся в болото. Глянул вверх и сквозь пихтовый лапчатник увидел проблески ещё голубого, но уже посеревшего неба: наступает вечер! Через час в урмане не будет видно ни зги, хоть глаз коли. Надо немедленно возвращаться домой, да нет — бежать! Бежать, бежать! Но куда?

Вскоре со страхом понял: я заблудился, ночь придётся провести в тайге. Меня затрясло от ужаса. Что делать?! Нарезать лапчатника, укрыться им и остаться внизу? Но в тайге столько зверья! Вспомнил, как волки были зимой недалеко от нашей избы... На пихту! Скорее на пихту, устроиться там и ждать рассвета!.. Я долго и осторожно карабкался вверх, почти вслепую нащупывая руками ветви и их обломки, за которые можно было с уверенностью цепляться, а босыми ногами отыскивал опоры. Метр за метром забирался всё выше, пока не увидел небо, звёзды, а в их свете — толстый сук, на который и уселся, прислонившись лицом к стволу пихты. Весь я — рубашка, штаны, руки, ноги и даже лицо — был в смоле. Приобняв ствол, ибо охватить его руками даже близко к вершине пихты было невозможно, я наконец-то перевёл дух. Сосало в желудке, хотелось пить, а вскоре потянуло на сон. Но какой тут сон! Не слететь бы с высоты, на которую я забрался, дожждаться бы утра! Постепенно я успокоился и не сомкнул глаз ни на мгновение.

Я слышал, как спала тайга: побряхтывали и похрапывали старые пихты, ели и кедры, перешёптывались молодые осины, видел, как перемигиваются меж собой далёкие звёзды, как старая Луна с улыбкой наблюдала за их молодыми шалостями...

Когда просветлело, я с трудом сполз с пихты, долго разминал заочиневшие и затёкшие руки, ноги, всё своё тело, прежде чем сделать первые шаги.

Взошло солнце, и теперь я знал направление своего пути — мне надо было идти на восход. К полудню добрался до дома...

В Петушихе стоял переполох: мама сообщила Терехову, что я не вернулся из тайги. Но кому идти на поиски — старикам и старухам? Все, кто мог работать, были в поле... Судили-рядили, что делать, а тут и я явился...

Работников в колхозе не хватало, особенно в уборку и сенокосную пору. Тогда Терехов «мобилизовывал» наиболее крепких мальчишек — я среди них — на простые работы, к примеру таскать сено на волокушах.

Волокуша — это две тонкие берёзы, скрепленные на расстоянии примерно полутора метров друг от друга. Их верхушки переплетали таким образом, чтобы на них можно было навалить кучу сена. Комли (нижняя часть берёз) становились оглоблями, которые крепились к хомуту. На волокушах из разных концов огромного поля свозили сено к стогам и скирдам.

Лошади в колхозе выполняли «квалифицированную работу». Основной тягловой силой на сенокосе были быки. Вот они-то и доставались нам, пацанам.

Один из них — бывший производитель, осеменявший колхозное стадо коров, но списанный «на пенсию» по возрасту, огромный, жирный, — был закреплён за мной. Чтобы надеть на его могучую шею тяжеленный хомут, я залезал на завалянку или на высокий пень, и мы тащились с ним в поле.

Тут и начинались мои главные муки. Бык привык к совсем другим занятиям, был, видно, о себе высокого мнения. Новый вид труда его не увлекал. Таскать с утра до вечера вороха сена ему было явно не по нутру. Меня, пацана сопливого, он не ставил и в грош. Двигался еле-еле. Если же я брал в руки бич и начинал с оттяжкой хлестать его, думая, что прошибу до боли его жирную, толстокожую задницу, бык разворачивал морду в мою сторону и так удивлённо косил на меня злым глазом, что мне становилось страшно: одно движение рога — и я взлечу к верхушкам деревьев. Выход для меня был один — изо всех сил тянуть эту гору мяса, лени и презрения за собой на верёвке, привязанной к железному кольцу в ноздрях быка. Наверное, быку было всё-таки больно, но скорость движения мои потуги почти не изменяли. Иногда, когда я слишком натягивал верёвку, бык резко мотал мордой, и я пушинкой летел куда попало — в кусты, в траву, в пыль или грязь. Ударившись, я плакал от боли и своей беспомощности. Понаблюдав за мной, быть может, посмеявшись, бык сам собой начинал мерное движение вперёд, а я подбирал верёвку, и мы плелись рядом... К вечеру я валился с ног от усталости.

Однажды я получил возможность узнать, какую скорость может развить это с виду неповоротливое животное... В обеденный перерыв, в самый знойный час, дёрнул меня чёрт влезть на быка покататься. Другие мальчишки делали это. У моего быка была спина такой широкой, что я не мог сидеть на нём, свесив ноги, как обычный ездок на лошади. Ухватившись за его рога, я улёгся на спине быка, и пока он, как обычно, величественно вышагивал по полю, всё было отлично. Но вдруг, ошалеv от укусов облепивших его оводов и слепней, бык рыкнул, задрал хвост и понёсся в сторону леса. Так делают все коровы и лошади, когда не могут отмахнуться от болезненных укусов хвостами и ударами своих морд: бегут в лес и сшибают кровососов ветками и листвой кустов или заходят в воду, если рядом есть какой-нибудь во-

доём. Я вцепился в бычьи рога, орал и не знал, что делать. Всё решилось быстро: я треснулся головой о ветку дерева и грохнулся наземь.

В это лето сенокос для меня закончился. Удар был таким мощным, что я пролежал в постели несколько недель. Этого быка-пенсионера я запомнил на всю жизнь...

В своём доме, да и в колхозе, я был как тот самый «мужичок с ноготок», о котором писал поэт:

... — Откуда дровишки?

— Из лесу, вестимо.

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу.

Мой отец воевал на фронте, а я был и за лесоруба, и за лошадь — возил дрова, летом — на самодельной двухколёсной тележке, зимой — на санях. И сено тоже. Иногда забывал сделать нужную работу засветло (малец всё-таки!), и тогда приходилось идти в лес к вечеру, когда солнце уже клонилось к горизонту, а значит, возвращаться домой ночью. Ещё до выхода в лес становилось жутко: вспоминалась ночь, проведённая на пихте. Озноб по коже, а идти надо, надеяться не на кого, мою работу за меня никто не сделает, я это понимал.

Ни о каком сознательном «трудолюбии» в те годы, конечно, и речи быть не могло. Мама давала мне задания, и я хочешь не хочешь, а выполнял их как мог. Потому что «надо». Было множество случаев, когда я ревмя ревел от нежелания то вскапывать огород, то идти в лес по дрова, то колоть их и складывать в поленницу, то убирать навоз из коровника, но я никогда не перечил маме.

Иногда заигрывался со сверстниками, забывая о поручении.

Как-то мама велела мне разжечь во дворе «печку» и поставить чугунок с картошкой, а сама куда-то ушла, сказав, что вот-вот ненадолго должен прийти с поля Олег.

Была уборочная пора. Олег пришел домой грязный, в пыли, усталый, голодный и оттого, наверное, злой. А ко-

стёр ещё не разведён, картошка даже не намыта... Впервые в жизни Олег дал мне затрещину. И ушёл, не умывшись и не поужинав.

Работал Олег от зари до глубокой ночи: пахал, боронил, культивировал, таскал комбайн, сеялки, веялки, перегоняя трактор за многие километры с одного поля на другое. И десятеро пахарей за плугом на лошадях не успевали сделать столько, сколько он один на тракторе. Может, потому, что на него навалились тяжёлые, совсем не юношеские нагрузки, Олег по-прежнему оставался тощим, в его взгляде присутствовало какое-то отчаяние.

Во время посевных работ он являлся домой чумазый, в замасленном комбинезоне, с забитыми пылью волосами. Спрятавшись за дом и раздевшись догола, он долго умывался, отхаркивался чёрными земляными харчками, а я поливал ему большим ковшом из вёдер с горячей и холодной водой. Потом брат молча ужинал, так же молча забирался на сеновал и мгновенно засыпал мертвецким сном. Ранним утром за Олегом заезжал на дрожках Терехов, подбрасывал его до стоявшего в поле трактора, а сам отправлялся объезжать культстаны.

Осенью, в уборочную страду, всё происходило примерно так же. В октябре Олег был в основном дома или уходил на гулянку с Петькой Татарниковым. Или, выспавшись, весь день, а потом и в сумерках, весь вечер до сна при «керосинке» читал специальные книги о тракторах. А в ноябре уезжал за тридцать километров в Елбань, в МТС. Здесь, как считалось, он ремонтировал, а по сути, узел за узлом перебирал свой до предела изношенный ЧТЗ, меняя старые детали на новые, если они имелись в МТС, или же сам вытачивал болты, гайки, другие детали на токарном станке.

Провожая его в Елбань, Терехов всякий раз наказывал: «Ну, парень, не подведи... Чтoб трактор был как новенький... Забарахлит машина, пропал сев... и моя голова. Тебе-то што? Малолетка... Хотя...»

Всю зиму Олег безвылазно жил в Елбани. Мы редко виделись и очень мало разговаривали с моим старшим братом, и оттого, вероятно, образ его, дорогой моему сердцу, остался каким-то смытым, я представляю его по единственной фотографии, сделанной то ли в Елбани, то ли в Маслянино, в последние дни его жизни...

Коршун

В отличие от мамы и Олега, людей взрослых, выросших в цивилизованном мире и потому тяжело принимавших жизнь в глухомани, я быстро освоил новое жизненное пространство, так органично и естественно приноровился к сельским жителям, их быту, нравам и окружающей природе, будто здесь и родился. Люди, живущие в глуши, хочешь не хочешь становятся следопытами, «карнаками» на петушихинском словаре. Карна́к землю чувствует, знает, что в ней творится. Карна́к с лесом разговаривать может, зверей понимает, каждую букашку и каждую травку бережёт.

Блокадное прошлое страшило и ещё никуда не делось, и была огромная радость в том, что месяц за месяцем можно было забывать о нём: сирены воздушной тревоги, разрывы бомб и снарядов, продрогшие улицы, заснеженные трупы... Всё благоволило этому: еды, какой ни на есть, по ленинградским понятиям, — завались, мама, брат и сестра — рядом, папа воет, жив...

Да, для своих малых лет я много работал, но мне хотелось и забав, и все мы, деревенское пацанье, конечно же, как могли, так и играли, только игры наши, когда смотришь на них теперь из далёкой дали, были какими-то необычными для детского возраста; в них, как и во всей деревенской жизни, присутствовало что-то первобытное...

По весне, когда птицы начинали откладывать и выпаривать яйца, мы ходили разорять их гнёзда. Собирались вата-

гой, человек по пять-семь, а то и больше, и с шумом-гамом шли «зорить дристушек». Так называли мы дроздов, которых в лесу было видимо-невидимо.

Трогательную песню со словами «Вы слышали, как поют дрозды...» я услышал уже совсем взрослым. Сказать про дроздов, что они «поют», да ещё сказать с восторгом, — это, конечно, слишком... Дрозды кричат, верещат, трещат. Могут подражать другим птицам и животным, их можно даже научить выговаривать несложные слова. Дрозд — птица умная. Но петь?!

Когдаходишь в зону, где расположены гнёзда дроздов, они отчаянно кричат — зовут на помощь своих собратьев, и те со всех концов леса слетаются многими десятками, а то и сотнями. И наконец, когда ты лезешь по дереву к гнезду, начинается такой многоголосый птичий ор, такая какофония звуков, что звенит в ушах, и уже от одних этих звуков становится тошно... А в это самое время дрозды, словно бомбардировщики, один за другим и целой тучей с разных сторон начинают пикировать на тебя, карабкающегося по стволу, и, взмывая вверх, обдают струями помёта. Вот за это мы и называли дроздов «дристушками». И естественно, не любили, «зори́ли» их гнёзда.

Зачем мы это делали? Разумного ответа на этот вопрос я не имею. Яйца дроздов, иногда уже с зародышами, нам были не нужны, мы их разбивали. Просто была такая дикарская детская забава. Мы возвращались из леса с ног до головы в птичьем помёте, но довольные собой, словно победители...

Зато все в Петушихе обожали ласточек, скворцов и журавлей.

В деревне существовало поверье, что ласточка — птица священная, приносящая счастье. Ласточки вили по несколько гнёзд под стрешниной нашей избы и даже в коровнике. При этом гнёзда их находились так низко, что иногда я брал сидевшую на выпарке ласточку в руки, рассматривал

её, сизокрылую, красногрудую, ласкал, а потом усаживал обратно в гнездо, и, бывало, что она даже не улетала или, чуть перепугавшись, исчезала на несколько секунд и тут же как ни в чём не бывало возвращалась на своё место — высиживать птенцов...

Журавли жили в согре, километрах в двух от нашего дома, но частенько прилетали на опушку леса рядом с нашей избой. Почему они прилетали сюда? Ведь основной их корм — лягушки и прочая живность такого рода был в согре. Здесь же, на опушке, рос большой малинник. Может, они лакомились свежей ягодой? Или им хотелось просто погулять в чистых лугах? Чтобы наблюдать журавлей поближе, я осторожно пробирался в малинник, ложился на землю и, бревно бревном, замирал, рассматривая этих величественных и осторожных птиц с расстояния нескольких метров.

Несколько раз я пытался поймать журавля. Мне казалось, что сделать это очень просто: ведь этой длинноногой, тяжёлой птице, чтобы подняться в небо, надо разбежаться и набрать взлётную скорость. Но ничего у меня не выходило, хотя я был быстроногим.

Однажды всё-таки догнал и схватил зазевавшегося журавля за лапу, прижал оба его крыла к своей груди, принёс домой и привязал длинной верёвкой к плетню, долго наблюдал, как, пытаясь взлететь, большая птица отчаянно трепыхается, рвёт клювом верёвку. Но тут пришла мама, отругала меня, и я отпустил птицу на волю.

Зачем я поймал журавля? Может, в надежде, что он станет жить с нами?..

Журавлей в таяжных болотах летом собиралось множество. И когда осенью наступало время отлета, когда птицы сбивались в стаи, мы слышали журавлиные клики с разных сторон, а потом видели в небе не один, а сразу несколько клиньев, уходящих с курлыканием в какие-то неведомые края, и такая тоска западала в душу, словно прощался с роднёй...

Но были птицы, которых я любил особо, — это скворцы. По весне и летом они десятками буквально окружали нашу избу, потому что я обвешивал скворечниками все деревья рядом с избой и саму избу.

Каждый март, как только устанавливался наст, я брал сани, пилу, топор и отправлялся в лес искать деревья, главным образом трухлявые осины, в которых дятлы в поисках червяков выдалбливали большие углубления. В этих дуплах зимой жили белки, колонки, бурундуки, а по весне в них селились птицы.

Найдя дерево с дуплом, я пилой или топором валил его, выпиливал нужную мне часть ствола и привозил домой. Дальше всё было просто: углубить дупло, сверху приколотить крышу, снизу — днище, сделать насест пониже входа в гнездо.

И вот по утрам и вечерам наступал момент, когда, рассевшись у своих домиков, скворцы начинали петь. Каждый — о чём-то своём и по-своему, но в какие-то моменты мне слышалось (или чудилось?) и общее созвучие их голосов, как будто кто-то дирижировал этим хором... А то вдруг какая-то из птиц начинала мяукать вслед за нашей кошкой или блеять по-овечьи... Меня это удивляло и восхищало.

...А осенью сорок четвёртого года случилась история с коршуном. Наверное, это был всё тот же коршун, которого при въезде в Петушиху нам показал с вершины косогора Петька Татарников. Одинокое паря высоко-высоко в небе, он, как всегда, выискивал добычу.

Я любил наблюдать за тем, как коршун, будто подвешенный на невидимой нити, то плавно опускается вниз, то взмывает ввысь в воздушных потоках, чуть ворочая головой вправо-влево, как летит вниз на жертву чёрным комом. Плохо было то, что коршун воровал наших и соседских цыплят, а иногда, если петух вовремя не замечал хищника, набрасывался и на кур, которые поднимали дикий переполох и неслись в лопухи или под навес, но спрятаться удавалось

не всем. Схватив курицу своими мощными лапами, коршун убивал её острым клювом на земле, а иногда, тяжело набирая высоту, добивал уже в воздухе, а потом всё-таки бросал: нести её ему обычно оказывалось не по силам.

Все в Петушихе злились на коршуна: за лето он уносил десятки цыплят, калечил кур, уток и даже гусей, которых потом приходилось забивать раньше срока, а поделаться ничего не могли.

Но однажды, обнаглев и явно переоценив свои силы, коршун схватил ягнёночка, которого только-только принесла наша овца; ягнёнок ещё едва ковылял за ней на неустойчивых, непослушных ногах. И тут — коршун... Упав с высоты на спину ягнёнка, хищник несколько раз долбанул его по голове и попытался взлететь, но еле поднявшись на два-три метра, выпустил из когтей. Ягнёнок брякнулся о землю и издох. Для нашей семьи это была потеря.

Я решил отомстить коршуну. Направление, куда он каждый раз улетал с добычей, было давно известно. Теперь я решил разыскать его гнездо и поймать коршуна в капкан.

Немало поколесив по лесу, я нашёл коршуново пристанище. Коршун свил гнездо на высокой, казалось, до самого неба сосне. Когда-то в этом месте был пожар, вокруг торчали горелые чёрные стволы и пни деревьев, место выглядело мрачно. Молодой подлесок только начинал подрастать. Вершина сосны обломилась под ветром, наверное, как раз из-за её высоты. На стволе почти не было сучьев, а ближе к корню ствол был очень толстым. Только у самого верха осталось несколько обгорелых сучков. Зато подступы к своему жилищу коршун мог видеть с высоты отовсюду.

Я заметил, что в большом выложенном из сухих сучьев гнезде есть птенец, изредка поднимавший голову. Самка, обычно сидящая в гнезде с птенцом, на этот раз куда-то улетела.

Где находились коршуны, видно не было, но я слышал знакомую трель «тюю-хьиии, тюю-хьиии»... Я знал этот го-

вор коршунов. Может, они уже заметили меня и о чём-то договаривались меж собой.

Начал карабкаться по голому стволу, упорно лез наверх, хотя зацепиться было не за что. Я устал, но уже почти достиг цели, как в небе появился коршун.

И началось... Коршун бросил свою добычу, и тут я уже не слышал никаких «тюю-хьиин», а только громкий угрожающий клёкот могучей и вблизи, казалось, невероятно огромной птицы. Коршун налетел на меня, целя в голову. Обдирая себе живот, я в панике стал... не сползать, нет, а практически падать вниз, цепляясь за ствол левой рукой, а правой защищаясь от взбесившейся птицы. Отлетев на несколько метров, коршун вновь атаковал меня, и так несколько раз, пока я наконец не оказался на земле и не бросился бежать. Но и тогда коршун гнал меня до самого леса, держась позади буквально в двух-трёх метрах, а в какие-то мгновения, оказавшись надо мной, успевал долбануть в голову.

Домой я вернулся весь в крови, с ободранным животом, с глубокими ссадинами на голове, на руках и спине. Бой я проиграл, о чём рассказал с досадой своим друзьям-товарищам.

Вечером, уже засыпая на сеновале, я ощупывал свои раны и думал: «А почему со мной не дралась коршуниха? Ведь вдвоём они бы убили меня. Может, осталась в гнезде, с птенцом?» И ещё думалось мне: «Может, и хорошо, что всё так вышло. Разных моллюсков, пресмыкающихся гадов, рыбы, разных зверьков и паразитов, да и разной мелкой птицы на белом свете великое множество, а коршунов в небе над Петушихой всего два и один птенец... Они очищают землю от гадов и тем полезны. Хорошо, что я не украл коршунёнка, а коршун задал мне такую трёпку». Хотя взрослые в деревне говорили, будто коршун — дьявольская птица, «скорая смерть с неба»...

А через несколько дней Витька Косой собрал всю пацанву и гордо объявил, что он поймал коршуна в капкан. Мы

понесли к его избе, где что-то большое билось в холщовом мешке. Каждый с любопытством и осторожностью потрогал мешок: точно — птица.

— Может, это гусь? — вдруг крикнул кто-то.

И все захохотали.

— Ах, гусь?! — разозлился Косой.

И Витька снял мешок. Да, это был коршун. Лапы у него были связаны, крылья примотаны веревкой, а на голову надет колпак. Коршун изредка дёргался, но вяло. Было видно, что он потерял много сил.

— Витька, ты как изловил-то его? — с нескрываемым страхом спросила одна из девчонок.

— А так! — лихо заговорил Витька. — Егор же указал, где гнездо. Я отыскал. Залез на сосну, капкан в гнездо поставил, спустился вниз, затаился в кустах. Коршун прилетел — бряк!.. Вывалился из гнезда с капканом, давай крылами махать да орать. Я капкан-то к суку примотал... Махал-махал, а все на месте, крыла токо ломает. Утомился и повиснул на верёвке вниз башкой. Тут второй прилетел... И давай кружить, да кричать оба, в два голоса-то. Разговаривали они, я думаю. А потом один подхватил птенца и унес куда-то. Ну, дале чё — забрался на сосну, колпак на голову, крыла да лапы обмотал бечевой, да в мешок... Вот он, вор-ворюга...

Детское собрание молчало.

— Может... вызволить корша-то, а? — прозвучал нерешительно девчачий голос.

— Давай, отпустим, Витёк, а? — сказал Илюша.

— Давай, отпустим, — согласно сказал я, как будто коршун сидел в моём мешке.

Косой недоуменно крутил белками.

— Как это? Он цыплёнков таскает, курей бьёт, а мы... Ягнёнка твою забил, а ты... А-а! — вдруг обратился Витька ко мне. — А ты вотя ремень свой гони, тады отпушшу. Отдашь?

Я снял солдатский ремень со звездой на пряжке, последний признак моего ленинградского отличия, и протянул его Витьке. Тот важно подпоясался, размотал веревку на лапах коршуна, как мешок поставил его перед собой и отскочил. Коршун медленно поворачивал головой, обведя наше собрание царственно-презрительным взглядом, широко и беззвучно, словно зевая, раскрыл клюв, втянул голову, нахохлился и застыл в неподвижности с широко расставленными лапами, словно позволяя нам рассмотреть себя. Да, такой птицы вблизи я не видывал. Даже со связанными крыльями, коршун источал мощь и угрозу.

— Ну, злыдень, лети на волю!.. — сказал Витька, присев на корточки, и приблизил к коршуну свое слепошарое лицо, чтоб распутать его крылья.

Молнией сверкнул огромный клюв коршуна, и Витька с воплем опрокинулся навзничь, обхватив свой лоб руками. Удар был таким сильным, что мы слышали его. Витька вскочил, спотыкаясь и падая от своей слепоты и от крови, которая брызнула из-под ладоней, кинулся в избу. Витькина мать и сестра были в поле, мы долго рылись в тряпье, баночках-скляночках, чтоб остановить кровь, залепить чем-нибудь рану, замотать Витькину голову.

С грехом пополам справились с этой работой и замерли в печали и растерянности — что будет дальше?

Придя в себя, Витька сказал:

— Птицу не отпущу. Уходите.

И мы ушли, оставив коршуна, лежащего на боку в беспомощном положении: от удара он потерял равновесие и тоже упал, но встать со связанными крыльями не мог, лишь сжимал и разжимал лапы с длинными смертельными когтями.

Мы ушли от Витьки, но не могли расстаться, пошли за околицу, мимо нашей избы, сели на бревнах и гадали, что будет с коршуном.

Вдруг Илюша крикнул:

— Смотрите!..

И мы увидели, как от Витькиной избы, широко размахивая крыльями и тяжело набирая высоту, взлетает коршун, а за ним тянется длинная веревка, на конце которой горит и не гаснет, а тонкой огненной струйкой быстро бежит к летящей птице пламя. Мы поняли всё и застыли в ужасе: сейчас огонь подбежит к птице, её перья вспыхнут, и она будет медленно погибать в воздухе. А коршун всё выше, а пламя всё ближе, ближе...

И был страшный миг: видимо, поняв неизбежность своего конца, коршун вдруг стремительно взмыл вверх, сделал в воздухе немыслимый кульбит, так, что огненный жгут захлестнулся, потом разом сложил крылья и огненным комом полетел вниз, ударился оземь так, что искры от удара о твердь брызнули вверх...

На следующий день мы узнали то, о чём догадались: Витька промочил верёвку в керосине, привязал её к лапе коршуна и отпустил его...

— Отдавай ремень, — сказал я.

— Пошто? Я вызволил корша? Али те жалко?

Что имел в виду Витька, коршуна или ремень, я не понял. Но с того дня, лёжа на траве или в стоге сена, наблюдая причудливую игру облаков, я всегда бессознательно искал среди них коршуна, а он не появлялся, и оттого небо казалось мне неполноценным... Странно всё-таки, что люди разводят и пожирают в несметных количествах всяческих животных тварей, жрут, жрут, ради жратвы закупают войны и бессчётно убивают друг друга... А вот для одинокой гордой птицы, украшающей небо и очищающей землю от мерзопакостных тварей, им жаль нескольких цыплят, которые могут только бегать, а вырастая, взлетают не выше ограды и нужны лишь для того, чтобы люди могли рубить им головы, а потом варить или жарить их трупы... Жрать, жрать...

Школьная учительница

С радостью вспоминается мне петушихинская школа — длинная одноэтажная бревенчатая изба в три связи. В первой трети школы сразу у входа находились прихожая, вешалка и печь, обогревавшая все школьное помещение, а за ней — просторный класс, в котором проходили занятия. В третьей части избы жила директор школы, она же — наша единственная учительница Мария Ивановна Кравчук. Вход в её часть здания находился с противоположной стороны, там же располагались двор и всё её хозяйство. Ещё была в школе техничка, лучше сказать, уборщица или завхоз, топившая печь, мывшая полы, протиравшая парты, следившая за всей немудрёной школьной утварью.

Учительница наша была в непонятном для нас возрасте — лицом не старая, но вся седая. Добрая, улыбчивая, своих учеников, которых и было-то с первого по четвёртый класс всего восемнадцать, никогда не ругала. Есть же на свете люди особой породы, которые, как солнце, обогревают всё их окружающее, вовсе не задумываясь об этом, а просто потому, что существуют...

Илюша Нопин, Вовка Пономарёв и я в сорок втором году ходили в первый класс, трое девчонок и двое мальчишек — во второй, остальные — в третий и четвёртый: школа была начальной. Первый и второй классы, так же как третий и четвёртый, занимались одновременно в этом единственном помещении, только сидели за партами по разные стороны. Младшие учились в первую смену, старшие — во вторую.

Как управлялась Мария Ивановна сразу с четырьмя классами и своим домашним хозяйством, одному богу известно. Мало того — по вечерам она ещё ходила по избам, навещала дома тех учеников, кто отставал в учёбе, «подтягивала» их. Живя в одиночку, имела, как все селяне, корову,

овцу, кур... Среди жителей Петушихи учительница пользовалась непререкаемым авторитетом.

Осенью и ползимы сорок второго года, когда мы только поселились в Петушихе, я был ещё физически слаб, чтобы отсиживать за партой по несколько часов, часто пропускал занятия. Мария Ивановна без всяких упрёков приходила поздними вечерами в Зойкин дом, без лишних слов раскладывала учебники на столе в горнице, усаживала меня рядом с собой, и мы при лучине или коптилке, почти касаясь друг друга головами, склонялись над книжками. Начинался урок.

Зойка принимала учительницу без звука, на время занятий укрывалась с Ульяной в спальенке, а мама с Ириной молча пережидали в углу горницы.

Но вот беда! — не было тетрадей и никакой другой линованной бумаги. Имелась только газета «Правда», которую в Петушихе получали два человека — Мария Ивановна и Терехов. Но и страниц этой газеты не хватало. Мария Ивановна выпрашивала «Правду» у Терехова: тот был заядлый табакур, выращивал табак, как и все в деревне, в своём огороде, нарезал и крошил ножом табачные стебли, смешивал с перетёртыми листьями, слюнявил самокрутки, изводя на них половину правдинских полос. Каким-то чудом в маминих чемоданах оказалось несколько газет ещё довоенного времени. И это было спасение...

Учительница принесла из школы чернильницу-непроливашку, научила маму делать чернила из свеклы, и вот я, макая перо в непроливашку, выводил между строк правдинских текстов лиловые буквы русского алфавита, а через несколько месяцев — слова и короткие предложения вроде «Враг будет разбит. Победа будет за нами». Я знал, что это сказал товарищ Сталин, портрет которого висел в школе над классной доской, и мне казалось, что если я напишу слова «Враг будет разбит» много-много раз, то победа придет скорее. Просил: «Мария Ивановна, можно я ещё напишу?» Она улыбалась, понимая, видимо, мои чувства, и раз-

решала. Но только один раз: надо было экономить бумагу. Высунув язык от старания, я крупными бурыми буквами выводил заветные слова...

Однажды мама положила мое «произведение» в «треугольник» и отправила на фронт папе.

Учился я легко. Как-то Мария Ивановна (это было уже в конце первого класса, когда я мог высиживать уроки в школе от начала до конца) заглянула к нам домой, похвалила меня за успехи и сказала:

— Игорю надо читать художественную литературу, развивать воображение. Конечно, лучше бы книги для детей. Но в школе нет библиотеки. У меня есть несколько книг, правда, они на украинском... Пусть попробует. Язык не сложный, певучий... Я помогу.

И оставила томик стихов Тараса Шевченко.

По-видимому, особой охоты разбираться в непонятных выражениях, где чуть ли не половина слов русские, частью зачем-то до смешного исковерканных, а во множестве совершенно непонятных, у меня не было. Я полистал книжку, немножко попыжился и отложил в сторону.

Но когда однажды Мария Ивановна спросила, читаю ли я стихи Шевченко, я с испугу соврал: «Читаю». Было стыдно, и я попросил учительницу о помощи. Мария Ивановна пригласила меня домой, устроила короткий экзамен и, никак не оценив мои «достижения», прочитала вслух несколько стихотворений Шевченко, а потом под гитару пела украинские песни.

Не знаю, что тронуло мою душу: то ли мелодии песен, то ли напевность стихов «Кобзаря», то ли покоряющее внимание учительницы, только я поклялся в душе, что одолею украинский язык. И выполнил странное, до сих пор непонятное мне пожелание Марии Ивановны: к окончанию четвёртого класса, хоть и сбивчиво, я уже читал стихи Шевченко, многие знал наизусть, да ещё несколько песен на украинском...

В те годы в школьную программу ввели военное дело. Иногда Мария Ивановна приходила в класс в форме — гимнастёрка без погон, с отложным воротником, галифе, кирзовые сапоги, пилотка со звездой, а на плече — винтовка, самая настоящая, только со сбитым ударником. Припав щекой к прикладу, мы учились целиться, щёлкали курком, едва доставая до него пальцем, — винтовка была для нашего возраста длиннющей и тяжелой. Но эти занятия нравились всем: мы ощущали себя почти на фронте...

И были ещё уроки пения.

Музыкальных инструментов в школе не было. Мария Ивановна играла на гитаре, а иногда приносила из своей комнаты единственный на всю Петушиху патефон. Но чаще всего красивым голосом пела разные песни, а мы кто как мог подпевали ей. Потом получали домашнее задание — выучить наизусть стихи какой-нибудь военной песни. Затем происходила спевка, на которую собирались ученики всех четырёх классов.

Звонкими голосами детский хор громко пел, «Священную войну», «Шумел сурово брянский лес», другие песни, которых в военные годы рождалось множество, и были они прекрасны. Мария Ивановна первой в Петушихе узнавала о новых песнях, поскольку у нее был патефон, из Маслянинского района ей иногда присылали с почтальоном новые грампластинки.

Я оказался самым голосистым в школе, и учительница просила меня то запевать в хоре, а то исполнить какую-нибудь песню одному. Солировали и другие, но чаще всего эта честь выпадала мне. Поначалу я стеснялся, а потом с удовольствием вошёл в роль.

Некоторые песни военных лет нынешним поколениям неведомы, да и старшими забыты: многие десятилетия прошли с военной поры, сменились эпохи, оплёваны герои, служившие для нас примером отваги и чести, а в мою

память мелодии и слова этих песен вросли навсегда. Помню, я запевал:

Пролетают кони шляхом каменистым,
В стремени привстал передовой,
И поэскадронно бойцы-кавалеристы,
Натянув поводья, вылетают в бой.

Припев подхватывали все:

В бой за Родину, в бой за Сталина!
Боевая честь нам дорога.
Кони сытые бьют копытами,
Встретим мы по-сталински врага!..

Слова некоторых песен того времени ныне звучат странно, но тогда мы, мальцы, не могли понять некоторых несуразностей: шла война машин — танков, самолётов, самоходных орудий, кораблей, подводных лодок, а мы пели про эскадроны, про бойцов-кавалеристов, в строчке «кони сытые бьют копытами» делали ударение на слове «сытые». В этой песне что ни куплет — имя Сталина. Один из них заканчивался словами: «Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов, мы готовы к бою, Сталин, наш отец».

Кто такой Ворошилов, Мария Ивановна разъяснила нам: герой Гражданской войны, бывший народный комиссар вооружённых сил СССР, маршал Советского Союза. Это нам было мало интересно. Зато слова «Сталин — наш отец» мы выпевали с энтузиазмом, особенно я: ведь мой папа работал на Металлическом заводе имени Сталина, писал Сталину с фронта о бедах нашей семьи, и Сталин прислал в Петушиху всадника на белом коне... Три слова «Сталин — наш отец» я уже не пел, а почти выкрикивал...

Портрет вождя висел на стене класса прямо перед моей партией, я смотрел в его лицо и в какие-то мгновения думалось, будто он слышит меня и одобрительно усмехается в усы...

Душа моя заразилась музыкой там, в петушихинской школе. С тех пор всю жизнь в каждую свободную минуту я напеваю или насвистываю мелодии разных песен, арий из опер и оперетт, радостные или печальные — не важно, и бесконечно размышляю о таинственной и всепокоряющей силе музыки...

Музыка для меня — это любовь в поисках утешительного и вдохновляющего слова, когда, не говоря ничего, можно сказать всё. Мне кажется порой, что когда плачет музыка, вместе с ней плачет всё человечество, ибо музыка — его всеобщий язык, последнее слово искусства. Ничто так не напоминает мне прошлого, как песни и музыка ушедших дней, вызывая в памяти былое и тени дорогих моему сердцу образов, окутанных меланхолической дымкой...

Иногда под настроение Мария Ивановна безо всяких просьб пела нам русские и украинские, народные, лирические военных лет песни так задушевно, с такой неприкрытой печалью или ласковым укором, что начинало казаться, будто словами этих песен она разговаривает с живым, присутствующим в нашем классе, человеком. Замерев от нежности проникновенных звуков, мы невольно всматривались в сумрак вечернего класса, выискивая существо, к которому так трепетно обращалась наша учительница. В эти минуты Мария Ивановна была схожа с образом Богоматери, икона которой висела в углу, слева от портрета Сталина...

Случалось, Мария Ивановна просила меня петь первым голосом, а она вторила мне. Я млел от счастья...

Моя учительница была из той редкой породы людей, которые знают тайную силу музыки, понимают, что там, где звучит великая музыка, там умолкает речь; ну а если к великой мелодии прикладывается равновеличие поэтического слова, там поёт сердце и чувства человеческие рвутся ввысь и к делу.

Наверное, поэтому Мария Ивановна часто заводила нам на патефоне пластинку со «Священной войной», и когда звучали слова «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!..», наши детские душонки трепетали, как листья на сильном ветру, и каждый малец, верно, думал, что этот зов могучего мужского хора обращён и к нему. Ей-ей, мы признавали себя участниками той священной войны, когда после уроков шили кисеты, набивая их табаком, рвали по осени жесткий лён, собирали рябину в дремучем лесу и колоски в залитых дождями полях... И не было среди нас таких, кто сказал бы «я устал», «мне больно», «я не пойду». Шла война, плакала музыка — и с нами была любимая учительница.

Мария Ивановна излучала столько доброты, заботы и тепла, что я боготворил её, а вместе с нею и всю школу — от красного флага у входа до раскалённой по зиме русской печи, к которой я прислонял свои заочевенные, уже ничего не чувствующие ноги, после того как пулей проносился босиком по трескучему морозу и обжигающему снегу от нашей избы до школы: была зима сорок третьего года, когда в нашей семье имелись только одни пимы, и мама не могла обойтись без них в своих хлопотах по хозяйству, а я не смел даже помыслить, что пропущу хоть один урок. Долетев до школы, я прислонял босые ноги к печке, они поначалу шипели от жара печки, как масло на сковороде, но постепенно с лomotой и болью оттаивали, а вода с них и мои слёзы капали, капали до тех пор, пока техничка не начинала трезвонить в колокольчик. Тогда, завернув ноги в онучи, я садился за парту и забывал обо всём на свете, даже о ноющих от заморозки ногах: оставались только Мария Ивановна и то, что она говорила, а я был весь — слух и внимание...

Однажды мы с Илюшей Нопиным учили в их избе уроки. Был полдень. Отец Илюши, дядя Володя, пришёл из кузницы на обед. Мы уже складывали в холщовые сумки свои школьные принадлежности, собираясь на занятия, когда я ни с того ни с сего молвил:

— Дядя Володя, какая хорошая у нас школа! А Мария Ивановна — просто чудо! Только почему она такая седая? Она старая? И глаза у неё такие грустные...

— Да как не быть ей седой и в печали, ежели ейного мужика любимого и дитёнка-малолетку убили?.. Тут и с ума свихнуться можно. Конечно, много годов тому назад этот случай был, в пору колыванского бунта... эт скоко ж годов утекло?.. двадцать? Да не, поболе... А как ей забыть этакое? Вот и кукует век одна... А годов ей, кажись, за сорок с немногим...

Ошарашенные этой новостью, мы с Илюшей понеслись в школу. Едва дотерпев до конца уроков, я спросил:

— Мария Ивановна, расскажите нам про колыванский бунт... И про себя тоже...

В тот момент Мария Ивановна стояла к нам спиной, протирала исписанную мелом классную доску. Услышав вопрос, она на несколько мгновений замерла с тряпкой в руке, затем медленно повернулась лицом к нам, осмотрела каждого растерянным взглядом. Присела на табуретку.

— Про колыванский бунт?.. Зачем, детки? Рано вам знать об этом... Не надо...

— Надо, надо! — неожиданно враз загалдели все. — А то рóдичи сказывают меж собой: «колыванский бунт», «колыванское восстание», «большевики», «партизаны», «повстанцы», «бандиты»...

— Вот вы бы их и спросили, — попыталась отговориться Мария Ивановна.

— Ага, моего деда спросишь!.. Тумак по шее — вот и ответ: «Не твоего ума дело».

— А потому, что дело очень сложное, никто о нём всю правду не знает...

— И вы? — удивлённо спросила Анька Татарникова.

— Конечно!.. — пожала плечами Мария Ивановна. — Откуда ж мне всё знать? Так, кое что... Бунт — загадочно звучит... А ведь это была война... гражданская война, если по-

думать. Тысячи людей, сотни сибирских сёл воевали... Вот Петушиха... Это сейчас можно сказать, что деревня наша — одна семья. Ну, распри, ссоры — в семье такое бывает. А тогда ваши деды и отцы друг дружку убивали, одни из татарниковых и пономарёвых — за бунтовщиков, другие — за большевиков, за советскую власть... Ведь это был всего-то двадцатый год... И у каждого — вроде бы своя правда... У «красных» — красная, у «белых» — белая... и каждый — за Россию... Брат на брата, сын — на отца... Помню... — Мария Ивановна вдруг запнулась. — Да что ж это я — вот уже и рассказываю. Рано, рано вам, детки, не надо!..

Класс упрямо молчал.

— Так все же хотите знать? — расстроенным голосом спросила Мария Ивановна. — Хотите?

Класс молчал. И это был ответ.

Мария Ивановна обняла лицо руками. Заговорила медленно.

— Впрочем, это ведь правда, это история, наша история, а историю, а правду надо знать, хорошая она или плохая... и всю как есть понимать и принимать... А иначе и вы, когда подрастёте, станете враждовать, а то и снова убивать друг друга... Ну что ж, будем считать, у нас сегодня не обычный урок истории...

Мария Ивановна поднялась с табуретки, как всегда, стала ходить взад-вперед между партами и говорить... Говорила она негромко, с остановками, подбирая слова, говорила долго. Теперь мне уже трудно вычленить из всего моего знания о колыванском восстании, обрётённого за долгие годы жизни, только то, что тогда рассказала нам, несмышлёнышам, об этом трагическом событии Мария Ивановна, но рассказ её был страшен, и главное из него запало в душу и память глубоко.

Наша учительница, помню, говорила нам, что после революции в Сибири ещё долго жестоко, беспощадно властвовал адмирал Колчак. Куда б ни приходило его войско,

всех лиц мужского пола он забирал в свою армию. За отказ — расстрел. Упиралась вся деревня — сжигал дотла её и всех жителей от мала до велика. Армию свою Колчак держал в страхе. Чуть что — расстрел или виселица...

Поймали и Колчака. Расстреляли. Тут и подумали все, что Гражданская война закончилась.

Но как назло в центре и на юге России, по всей Украине случилась страшная засуха, был не просто неурожай, а большой неурожай. Кормить людей стало нечем, миллионы человек умирали от голода. Что было делать Ленину и его правительству? Вот и решили взять продовольствие в тех деревнях, где зерна и мяса оказалось больше, чем нужно на пропитание, а излишки отдать голодающим, погибающим... Больше миллиона пудов только необмолоченного хлеба, лежавшего в скирдах, обнаружилось в Сибири. Сибирский революционный комитет (а он располагался в Новониколаевске) создал продовольственные отряды, чтобы этот гниющий хлеб и другие излишки отправить в города и сёла России, умиравшим с голоду рабочим и крестьянам.

Но не всем сибирякам захотелось делиться запасами. Стали говорить: «Как же так? Советская власть обещала землю крестьянам, а тут — отбирают хлеб и скот...»

Вот и полыхнуло в августе 1920 года колыванское восстание.

Колывань — городок километрах в сорока от Петушихи. А потом стали восставать волость за волостью. Вскоре у восставших была целая армия. Откуда она взялась? Из офицеров-колчаковцев, прятавшихся в тайге, из кулаков, ненавидевших советскую власть, таких набралось не так уж много, тысячи три. А десятки тысяч откуда? Население сёл мужского пола от шестнадцати до пятидесяти лет мобилизовали под страхом смерти: или пойдёшь против коммунистов, или — к стенке. Многие отказывались. Расстреляли тысячи. Но были и те, кто особо не сопротивлялся: а вдруг сила окажется на этой стороне?..

Призыв мятежников был откровенным: «Бей коммунистов и жидов!» Сколько тысяч коммунистов поубивали? Не сосчитать. Зверствовали неистово. Вилами выкалывали глаза, отрубали руки, ноги. Семьи коммунистов, жён и детей, уничтожали. Сочувствовавших коммунистам тоже вешали, рубили саблями, закалывали вилами. Убивали просто за то, что человек носил очки. В очках — значит «антelligент»! А коль «антelligент» — непременно коммунист или жид... Так продолжалось несколько недель.

Шла война... Побеждали то одни, то другие, но всё же бунтовщикам приходилось всё хуже. Вскоре многие повстанцы, став понимать, что офицеры и богачи опять используют их в своих целях, убегали в тайгу, прятались по домам. Целые сёла вступали в бой с бандитами, когда те заявлялись за мобилизацией. Так и стухло колыванское восстание. Советская власть хоть и была новой, молодой и ещё слабой, а всё же сила была за ней.

Помню, словно сейчас вижу, как Мария Ивановна замолчала, как села за свой стол и надолго закрыла лицо руками. В классе стояла мёртвая тишина... Помню, как Мария Ивановна скрестила руки на груди и заговорила умоляющим голосом:

— Детки мои, вы простите, что я всё это вам рассказала. Не надо бы... Рановато... Вы ещё маленькие... Война идёт, и без того всем тяжко. Но вы спросили... За всю жизнь меня об этом никто не спрашивал, а я никогда никому об этом не рассказывала. Вам — впервые, честное слово... Даже удивительно, как всё помнится...

Я ведь тоже к этому мятежу имею отношение — служила в Красной армии ещё в восемнадцатом. В армии мы с мужем моим бывшим Федором Святославовичем и познакомились, и дочка наша родилась там же, в полку. Били Колчака. Добили. Потом нас бросили в Новониколаевск... теперь это Новосибирск... на подавление этого самого распроклятого колыванского бунта... А в посёлке Коченёво,

это рядом с Колыванью, повстанцы ночью захватили нас... Их было во много раз больше. Федю на глазах у меня и доченьки расстреляли. Он же был командир, коммунист... Оленька, малышка наша, кинулась бежать и скрылась вроде в темноте, да пьяный казак вослед ей несколько раз стрельнул вслепую и ведь угодил, гадина, в спину. Только утром я увидела её, мёртвенькую... Вот в ту ночь и поседела вся в двадцать-то с небольшим... А меня, когда узнали, что я беспартийная и учительница, убивать не стали, определили в штаб... образованных-то людей тогда почти не было... единицы... А вскоре мне удалось бежать в тайгу, попала к нашим. Опять воевала, новые мятежи подавляли... И вот уж двадцать годков я в Петушихе — и директор школы, и ваша учительница...

Без вести убитый

Рассказ Марии Ивановны о колыванском восстании всколыхнул Петушиху, будто вихрь сонное озеро. Дети, как поняли и могли, с пятого на десятое возбуждённо переталдычили домашним услышанное, ну а взрослые, старики и старухи, особенно пономарёвские и татарниковские, взволновались по-настоящему — до слёз и проклятий прошлого, которое, казалось, как ножевая рана уж заросло годами и новыми бедами, а вот поди ж ты, затронули — болит... Как не болеть? Ведь в этом прошлом, совсем недалёком, всего-то два с небольшим десятка лет назад, кой у кого остались дорогие сердцу и памяти имена и образы отцов и братьев, горбатовшихся многими летáми, а потом сумевших заогатеть, прикупивших землицы, лошадей и, знамо дело, нанявших себе в работники голь безземельную, безлошадную. И было-то таких на сто петушихинских изб всего пята-ро: трое пономарёвских да двое татарниковских, а батрачили на них многие из их родни и других деревенских фамилий.

Пришла советская власть — власть пролетариев и крестьянской бедноты, и называли таких состоятельных, скуповатых и корыстолюбивых, но работающих и смекалистых мужиков по всей России кулаками, а в Сибири — «кулачами». И принялись «кулачить» — раскулачивать. Землю, скот и прочее имущество поделили меж бедняками, а этих мужиков-хозяев — кого в тюрьму или в ссылку, а кого — из особо упиравшихся — расстреляли. Куда позднее принялись создавать коллективные хозяйства — колхозы. Тут взъерепенились «середняки» — мужики не богатые, но и не бедные. Им тоже досталось ой-ёй-ёй...

Но всё же с горем пополам коллективизацию завершили. Петушиха стала колхозом имени Андрея Александровича Жданова. Худо-бедно жизнь налаживалась. Сошлись люди с новой властью, кто — с восторгом, кто — бездумно, а кто и с камнем за пазухой. Меж собой сблизилась, хоть в пору колыванского бунта, когда петушихинские мужики стояли по разные стороны: одни ушли в «партизаны», другие служили у «красных», ловили этих «партизан», и обе стороны бились на смерть, не вполне понимая, за что убивают других и умирают сами, — казалось останутся врагами на веки вечные.

Вот и теперь, наслушавшись пересказов этой кровавой истории от своих детей, переругавшись с роднёй по избам, старики взбаламутились, гамузом вывалили на улицу, собрались гурьбой у колхозного правления, дымили самокрутками и беззлобно судачили.

— А училка-то наша — героиска баба... Токо пошто ребетёнкам про Колывань сказывать?..

— Да, Парфёныч, те давешние годы страшные...

— Целы семьи вырезали, смотреть всё это, ну, как огнём по сердцу било...

— Что — люди? Коровам рога отпиливали, комóлые ходили, а то друга дружку забить могли... дважды два... Вот скоко злобы набралось...

— А кто был их вождь? Жид Троцкий, а все жидаы с Рождества Христова — враги православного люда...

— Тю, Афоня! Главный был Ленин, а друга фамилия Ульянов, русский! Он мужик правильный был, знал, чё делал...

— А кто про Ленина тады слыхивал? Всё «Троцкий» да «Троцкий». Командир всей Красной армии был. Жид чистый. Нам говорили: «Все коммунисты — жидаы. Бей жидаов!» Вот и били...

— Казачество устранили, станицы в сёла переназвали, а пошто?..

— Чё трандычить, мужики, об едином цельный день? Тогдашна жись всё ж не как чичасна... Война — вот беда!..

— А вот дай мне, Кузьма, намёк: откель в Петушихе взялся энтот «Лал-моті-не надо»? Откуль-то сыздали приехал, слыхивал, от Петушихи очень дально... Говорят, сильно кулачил где-то...

Так день, и два, и три подряд грудились старики и старухи у колхозного правления, с каждым разом всё чаще стали переругиваться меж собой, и даже гроза зазвучала в их головах. Спрятавшись за углом соседней избы, хоть и малышня, мы улавливали детским ухом нарастающую злость, становилось страшновато: а вдруг передерутся?..

Но шла уже вторая половина сентября, и хоть в том срок четвёртом году был этот месяц теплее обычного, но всё же с каждым днём холодало, и северный ветер гнал вдоль деревни пожухлые листья, а всё живое — в тепло.

Угомонила споры о былом в одно мгновение почтальонша: средь писем о главном, что, мол, «жив-здоров», в её сумке опять лежали две похоронки, и снова поровну: одна — роду Татарниковых, вторая — роду Пономарёвых. Опять заголосила деревня, а мама, услышав плач, опять вышла к воротам, стала ждать почтальоншу — вдруг хоть на обратном пути передаст весточку с фронта и нам, вдруг впопыхах, по ошибке прошла мимо нашей избы... Но усталая женщина в ватнике с большой чёрной сумкой на животе

только горестно покачала головой и, опустив глаза, тяжело прошагала мимо...

Как и всё в этом мире, горе тоже изнашивается, а новое горе сильнее былого. О колыванском бунте больше никто не вспоминал, горевали горе о погибших на фронте. После каждой потери все петушихинцы становились всё смиреннее и, кажется, мудрее. В ожидании нового прихода поч-тальонши Петушиха напрягалась духом, ожесточалась и суровела внутренне: горе, как молния: в кого ударит — неведомо...

Шли дни и недели, повторялись времена суток, и в этом потоке времени не изменялось ровным счётом ничего: каждый день проходил как урок смирения, как духовное усилие, чтобы пережить тяжести этого проклятого жизненного события с названием «война», которому, казалось, не было конца. Убогие радости (одна из куриц снесла сразу два яйца, корова дала молока на литр больше вчерашнего) сменялись такого же рода малозначительными переживаниями. Можно сказать, «мы жили», но точнее — бытовали, и быт наш был безотраден, весь уходил на одно непрерывное чувство — ожидание папиного письма. Оно одно таило в себе возможную будущую радость.

И вот в начале ноября сорок четвёртого, в канун Великой Октябрьской социалистической революции, годами знаемая всеми почтальонша подошла к калитке нашей избы, постучала, и уже по её опущенным вниз глазам мама догадалась, что принесла она недобрую весть. Хотя, казалось бы, откуда почтальонше знать об этом? Чувала беду?.. Всё проще: она знала, что треуголки, которыми была полна её сумка, — это письма от живых или раненых, а конверты из райвоенкомата — почти всегда похоронки. Дрожащими руками мама тут же вскрыла конверт, прочитала письмо и сползла полуобморочная по калитке наземь. Мы с Иринкой спросили встревоженно:

— Мама, что случилось? Что пишет папа?

Мама долго молчала, лицо её побелело, она была не в себе. Потом тихим мёртвенным голосом сказала:

— Наш папа пропал без вести...

— Что это значит? — воскликнул я.

— Что это значит? — передала мама мой вопрос почтальонше.

— Откуда мне знать, милые, — развела та руками.

И пошла разносить письма по избам.

А вечером к нам явился председатель колхоза Терехов.

— Выходит, Ивановна, муж твой пропал без вести...

— Выходит, — выдохнула заплаканная мама.

— А знаешь ли ты, что это значит? — со странной интонацией в голосе спросил строго Терехов.

— Да откуда ж мне знать?! — отчаянно воскликнула мама. — Вот письмо, тут несколько слов... Вот, почитайте... — Она протянула конверт Терехову.

— Это мне не надобно. Тутко всяко может быть... Попал, к примеру, в человека снаряд, разнесло на куски, а никто не приметил... Кто кому весть пошлёт?.. Убит, а вести быть не может... Попал в окружение, ушёл в партизаны... Вот фильм «Жди меня...» Тут есть надежда... Раненный сильно, отправили куда, а доку́менты перепутали... И тут хоть с отчаяньем, а можно ждать... А вот в плен попал, это как? А ещё хуже — сам сдался, а? Вот тутко совсем другой коленкор выходит...

— Вы с ума сошли! — крикнула мама. — Как мой муж может сдаться в плен? Вы знаете...

— Знаю, знаю, всяко-разно видывал, — прервал маму Терехов. — Не таки сдавались.

— Наш папа не сдался в плен! — закричал я что было сил с печки.

— Ты чё орёшь на всю? Ишшо каждый всякий будет мне... Цыц! — даже не оглянувшись, рявкнул на меня Терехов. — Так што не взыщи, Ивановна, поеду я завтра в Маслянино, у начальства совет спрошу, как нам дальше быть. Убитых

у нас на деревне много, а чтоб без вести... Тутко, говорю, кой-какой другой коленкор...

Вернулся Терехов через два дня и сообщил маме, что совет начальства прост: ждать. А мы и без начальственного совета только и делали всей семьёй, что ждали и надеялись — наш папа жив.

А между тем наступил 1945 год, и было ясно: враг уже разбит, победа будет за нами!

Однажды майским утром дверь класса, в котором Мария Ивановна только начала урок, резко распахнулась, и мы... нет, я!.. я первый увидел на пороге того офицера с чёрной повязкой на глазу, что примчался в Петушиху на белом коне два года назад с письмом от папы и товарища Сталина.

Офицер снял фуражку и закричал:

— Отпустите ребят! Все на улицу! Война закончилась! Мы победили! Ура!

Класс завизжал от радости, кричал «ура!», а я между тем всё смотрел на офицера и ждал — вот сейчас он спросит: «А ты ведь Игорь Ильинский, да? Вот тебе письмо от папы». Но офицер меня не узнавал. Тогда я сам подошёл к нему:

— Дядя офицер, а мой папа без вести убитый...

Офицер схватил меня за плечи, сжав скулы, скрежетнул зубами:

— Такого быть не должно!.. Слышишь, мальчик? Ты подрос, но я вспомнил — блокадники... Скажи матери и всем — такого быть не должно! Офицер откинул меня от себя на вытянутые руки, просверлил моё лицо единственным глазом.

— Если погиб твой отец, то как герой, если без вести пропал — найдём! Ты верь: твой отец — герой! Так и скажи всем!

И он понёсся вдоль деревни на белом коне, размахивая над головой фуражкой и крича без конца во всё горло долгожданное слово «По-бе-да!..»

Странное явление представляла собой в тот триумфальный для всего мира день маленькая, забытая богом в глухих лесах сибирская деревня Петушиха, из которой на фронт

ушли девятнадцать мужиков и совсем молодых парней, а вернулись живыми только двое: Терехов в самом начале войны — без ноги да контуженный за месяц до победы Черемянин, вскоре от этих контузий и умерший. Все остальные полегли кто где: кто в родной, кто в чужой земле. В первом же бою убили Олегова друга и любимца петушихинских девчат Петьку Татарникова...

Рада, конечно, рада была Петушиха Великой Победе своей многострадальной страны, но так уже нагоревалась, наплакалась за военные годы, что не было силы ни смеяться, ни плакать, а хотелось всем, кажется, лишь одного — чтоб у побеждённых врагов, их матерей и родни ещё остались слёзы, чтоб было им чем плакать и страдать долго-долго...

Председатель колхоза и рядовой Советской армии Терехов долго ездил на своей таратайке от одной избы к другой, собирая петушихинцев на торжественный митинг, но всё работоспособное население находилось в тот день на полевых работах, потому к правлению пришли десятка полтора стариков и старух, чьи семьи война не ранила так сильно, как остальные, да и те, постояв несколько минут, разошлись по домам.

Тогда Терехов, нахлёстывая своего мерина, понёсся по полям извещать трудящихся о великом событии, и побежали мужики и бабы с полей по избам, и поднялся над Петушихой такой рёв, которого ещё не бывало.

А Терехов, вдупель пьяный, осознав весь размах горя и отчаяния подчинённого ему деревенского населения, прикрепил верёвками к своим дрожкам портрет Верховного главнокомандующего Сталина, красный флаг с серпом и молотом и стал объезжать избу за избой, пить со всеми горькую, доставая одну четверть самогона за другой. И ездил так целую неделю, пил не просыхая со стариками и старухами, говорил им горькие речи, плакал и просил, не скупясь на слова, прощения за то, что не погиб, как все земляки, а остался жив, хоть и покалечен... Поздравлял селян

с Победой, благодарил за доблестный труд, а павших земляков — за героизм от имени самого товарища Сталина и всей советской власти.

Такая вот «радость со слезами на глазах» владела деревней Петушихой в тот великий день.

В нашу избу за всю неделю Терехов так и не заехал. Это был плохой знак. Но даже излить свои сомнения, печаль и страхи маме было некому: Олег круглосуточно находился на полевом стане: посевная была в самом разгаре, обойтись без председателя колхоза даже в эту пору несколько дней можно, без тракториста — никак, дорог каждый час.

В один из июньских дней почтальонша подошла к нашей калитке, радостно крича ещё издали: «Вам письмо!» Мама была в огороде, а я правил тын у входа. Схватив письмо, подбежал к маме: «Вот! От папы!» Было воссиявшая на её лице радостная улыбка мгновенно утасла: «Это не папин почерк». Мама начала читать письмо, и слёзы хлынули из её глаз...

— У нас нет больше папы... Читай сам...

Мама отдала мне письмо и, шатаясь, пошла в избу. Я с ужасом читал письмо командира 884-го стрелкового полка капитана Ушакова, в котором он подробно описывал бой его полка за деревню Клэсков Латвийской ССР.

Немцы отступали от Ленинграда и вдруг, получив в подкрепление танковую дивизию, пошли в контрнаступление. Приказ был жёстким: «Держаться любой ценой! Ни шагу назад!» В центре танкового удара немцев оказался артиллерийский взвод нашего папы, лейтенанта М. Ф. Ильинского. Надежд, что кто-то во взводе останется живым, не было. Да и судьба всего полка висела на волоске. Поэтому Ушаков приказал собрать документы всех офицеров и спрятал их в надёжном месте. Сбылось худшее. Погиб не только взвод и его командир М. Ф. Ильинский, а почти весь полк. Его же, капитана Ушакова, с тяжёлыми ранениями едва спасли от плена, он пролежал в госпитале без сознания больше двух месяцев, а потом ещё три месяца оставался лежачим

больным и не мог указать место, где спрятал документы. И вот теперь передал их куда следует, пишет письма родным своих героев-однопольчан.

Я читал письмо капитана и не верил его словам... Потом нашупал, что в конверте есть ещё что-то. Это была фотография, на обороте которой рукой моего папы мелко написано: «Офицерский состав 884-го стрелкового полка 196-й стрелковой дивизии. Слева направо стоят...» Шестым с краю стоял мой папа, а в центре под номером девять сидел капитан В. Ушаков. И надпись: «1944 года, июня 22 дня».

Какие тут могли быть сомнения? Но — пока дышу, надеюсь, надеюсь вопреки надежде...

Через две недели почтальонша принесла нам похоронное извещение, в котором говорилось, что «лейтенант М. Ф. Ильинский погиб смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками», что его малолетним детям И. М. Ильинской и И. М. Ильинскому назначена пенсия. Вскоре мы получили почтовый перевод на довольно крупную по нашим понятиям сумму денег, которая накопилась со дня папиной гибели.

— Что поделаешь? — плача и обнимая троих своих детей, говорила мама. — Война. Папа погиб, а мы спасены, живы и скоро уедем в Ленинград. Из соседних деревень, говорят, кое-кто уже переехал. Да, наш дом на улице профессора Попова разбомбили, но говорят, что в таких случаях дают другую квартиру. Как-нибудь проживём. Алик уже почти совсем взрослый, мы с ним пойдём работать.

А вскоре и в самом деле из Ленинградского горисполкома пришёл официальный вызов, в котором говорилось, что наша семья может вернуться в Ленинград и занять двухкомнатную квартиру на Кировском проспекте. Мама всплеснула руками.

— Это же прекрасный дом, в нём Нина Фёдоровна, папина сестра, жила. Это недалеко от улицы профессора Попова, от нашего бывшего дома...

Мама с Олегом тут же написали запросы во Всесоюзный розыскной центр, мечтая отыскать нашу бабушку, Татьяну Семёновну, папину мать, её дочерей, папиных сестёр и наших с Ириной тёток — Валентину Фёдоровну и Нину Фёдоровну. Нам уже виделось, как все вместе мы соберёмся в Ленинграде у нас дома, вспомним папу и папиного брата, нашего дядю Володю, погибшего на Бадаевских высотах в первые недели окружения Ленинграда. Но наш сигнал SOS в огромный мир из захолустья сибирской тайги пропал, словно в космосе. Лишь через несколько месяцев из города Калинина (ныне и до советской власти — город Тверь) пришёл ответ, в котором сообщалось, что село Батюково Зубцовского района, где жили бабушка с тётей Валеёй, полностью сожжено немцами, а жители расстреляны. Из Ленинграда писали, что Н. Ф. Ильинская в списках умерших или эвакуированных не значится. Получалось, что все родовые корни обрублены, весь будущий род Ильинских находился в Петушихе.

Беда за бедой

Отъезд из Петушихи наметили на осень: надо было продать дом, корову, кур, собрать какой-никакой урожай на огороде, сдать его государству. Всё это чего-то стоило. Пенсия за папу была небольшой, а сколько денег нужно на билеты до Ленинграда и житьё-бытьё в разгромленном городе хотя бы для начала, не представляли ни мама, ни Олег. На счету была каждая копейка.

И тут случилась новая беда, хоть мы ещё не отошли от первой...

Наша корова, скотина умная и послушная, словно почуввав близкое расставание с хозяйкой, стала вдруг понурой и печальной, а в тот памятный день, под вечер отбилась от стада, да так аккуратно, что тугоухий пастух Кирьян и не

заметил, как она убрела в тайгу. Иногда и прежде случалось, что Зорька приотставала от своих подруг на опушке близкой от дома роши, но только крикнет мама «Зорька, Зорюшка-а-а!», как тут же слышалось ответное «м-м-у-у-у...», и Зорька неторопливо, словно боясь расплескать молоко, накопившееся за день в её большом розовом вымени, величаво двигалась к калитке нашей ограды, рогом отворачивала деревянный запор и подходила к маме с видом истосковавшейся подруги. И мама радостно гладила её по смолистой с белыми пятнами шее, ласково приговаривая «Зоря, Зоренька, Зорюшка»... Вскоре из коровника слышалось, как дзинькают тугие струи молока об оцинкованный подойник, как заполошенно кудахчут куры, взлетая ночевать на насест, и что-то недовольно выговаривает красавец-петух последней из отставших хохлаток. И вот уже мама несёт в избу ведро пахучего парного молока, а мы с Иринкой сидим за столом, наломали тёплого хлеба и ждём, когда, процедив сквозь белую марлю вечерний удои, мама разольёт молоко по крынкам, а потом до краёв наполнит и наши глиняные кружки...

В тот вечер мама звала Зорьку долго и отчаянно, в ответ ни звука. Уже начинало темнеть, мы кинулись в луга, кричали до хрипоты — без толку. Утром нам помогали искать Зорьку все, кто мог. И только вторглись в тайгу, нашли... Шкура да обглоданная голова — вот и всё, что осталось от нашей Зорьки. Старики определили: напал медведь, ну а ночью остатки Зорюшки изглодало зверьё, водившееся в петушихинской тайге...

Это был удар по всему нашему образу жизни: корова в деревне — почти как член семейства и его кормилица. Из Петушихи нам надо было теперь не просто уезжать, а бежать, и как можно быстрее.

Терехов ударился в жуткую панику, ни в какую не хотел отпускать Олега: на носу был сенокос, а следом уборочная страда. Колхоз без тракториста?... Тут председателю голо-

вы не сносить. Терехов предлагал маме от колхоза всё что угодно: и молоко, и мясо, и муку, и всё, что нужно для пропитания семьи, умолая: «Ивановна, уважь, ну потерпи до ноября!.. Войди в моё положение... Бедко мне, Ивановна! Спасу нет мне без твоего сына, уважь...»

Словно чуя новую беду, мама не сдавалась. Но беда не любит одиночества: на того, кто в беде, все несчастья валятся.

Из Ленинграда пришло письмо, в котором сообщалось, что в доме на Кировском проспекте, где нам была выделена квартира, взорвалась бомба, пролежавшая долгое время после какой-то из бомбёжек. Дом разрушен. Для нашей семьи подыскивают другую квартиру и, как только подберут, сообщат нам. А пока с переездом надо повременить.

Мама пала духом, а Терехов воспрял, снова загнал Олега на полевой стан, но слово своё держал: колхоз каждый день выдавал нам нужные продукты. Всё бы вроде ничего, живи и жди письма скорого из родного города, но оно не приходило...

Зато однажды, в середине июля в таёжной глуши, где мы жили, свершилось природное явление, прежде небывалое, сравнимое с землетрясением, которого никто не ожидает.

Лето было в разгаре. Уже можно было подкапывать молодую картошку, такую сладкую в ту пору! Огород буянил зеленью и обещал богатый урожай.

В тот день стояла необыкновенная жара, небо — чистое, ни облачка, голубое-голубое.

И вдруг на этом огромном голубом куполе, далеко на горизонте я заметил небольшой чёрный-пречёрный шарик, который летел в сторону Петушихи с невероятной скоростью, с каждой секундой увеличиваясь в размерах и быстро закрывая небо. Это было чёрное, как копоть, облако, впереди которого катился белый вал. В мгновение ока стало темно, как поздним вечером. «Сейчас хлынет дождь!» — подумал я и кинулся в избу.

Но с неба обрушился град, хотя в обычном представлении град таким быть не может. Это было что-то невероятное: с неба под острым углом летели куски льда величиной с куриное яйцо и больше, летели в таком множестве и с такой плотностью, что буквально за пятнадцать минут вся земля стала белой. Резко похолодало. В воздухе пахло снегом.

Картина была ужасной. Не понимая, кто их так сильно колотит, коровы, задрав хвосты, носились по деревне и дико ревели; свиньи, визжа, метались из стороны в сторону; лошади ржали и взбрыкивали, отбиваясь копытами от невидимого врага; успевшие спрятаться куры заполошно кудахтали, гуси отчаянно гоготали, утки кричали. Люди в полной растерянности наблюдали за происходящим из окон, из-под навесов, куда успели скрыться, не смея высунуть наружу и носа.

Град покрыл слоем сантиметров в двадцать всё, что росло и благоухало в огородах ещё несколько минут назад, покaleчил многих овец, лошадей, коров и свиней, поубивал множество кур, уток, гусей.

А небо вскоре заголубело, солнце засияло. Снова стало жарко. Град быстро таял, обнажая мёртвую домашнюю и дикую птицу. Крыши изб, крытые тёсом, подсыхая, становились пятнистыми, на толстенном стволе кедра, крона которого накрывала нашу избушку, град сбил почти всю кору, и с одной стороны он стал голый; на стволах берёз вздувались огромные волдыри...

Погибли все колхозные поля — рожь, пшеница, овёс, лён, картошка, свёкла, морковь — всё-всё... Деревня зашла в стоны и слезы.

Наступила зима, и как всегда в те годы — упали глубокие снега, ударили трескучие морозы.

Малюсенькие запасы картошки и овощей, которые, не смотря на град, мы всё же собрали с огорода, быстро таяли. На колхозные трудодни Олега нам выдали по несколько килограммов муки, немолотой ржи, пшеницы и пару мешков

ку́коля — обмолоченных головок льна, в которых иногда встречались льняные зёрна. Это была обыкновенная солома, оставшаяся от обмолота, но если её запарить в русской печи, то получалось нечто похожее на кашу, пахнущую льняным маслом. Мы давились, но глотали.

Наступил момент, когда всё съедобное в нашем доме вместе с убитыми курами закончилось. В подполе и сусеках — шаром покати. Пришёл голод. Самый настоящий, похожий на блокадный.

Мама стала попрошайничать у соседей, но у всех положение было такое же аховое.

В один из дней мама, потеплей одевшись, с утра куда-то ушла, и её не было целый день. К ночи она вернулась и принесла несколько картошин и морковин, кусок хлеба.

Через день она опять ушла. И опять принесла еды... Я понял, что моя мама ходит в соседние деревни, в которых град не был таким сокрушительным, а то и совсем не коснулся, и просит милостыню, или, как говорили в Петушихе, «побирается». До ближайшей деревни Талицы было больше десяти, а до другой — Большого Калтая пятнадцать километров. Идти надо было по глубокому снегу, проваливаясь почти по пояс, ориентируясь только по просекам. Несколько часов в один конец, несколько часов обратно...

Зимние дни коротки. Мама уходила ранним утром, затемно, и возвращалась глубокой ночью, едва живая от усталости и страха: путь лежал по тайге, в которой волки, рыси. Чтобы мы не сбежали из дома к соседям, мама припирала дверь снаружи. К ночи, когда темнело, мы с Ириной, прилепившись лицами к замёрзшему окошку, начинали реветь от ужасов, которые нам мерещились.

Но самое страшное было впереди...

Однажды поздним вечером, в середине января, когда мы трое — мама, Ирина и я сидели у жарко растопленной печки, в дверь слабо постучали. Мама спросила: «Кто?» В ответ раздался слабый голос Олега: «Я...» Мама открыла дверь,

и мы увидели всего в снегу, заиндевевшего, с мертвенно бледным лицом Олега. Он постоял несколько секунд, держась за косяки, хотел что-то сказать, но силы оставили его, и он рухнул из-за порога в избу лицом вниз...

Мама и я с трудом затащили Олега на его спальное место — скамью у стены, сняли промёрзшую, колом стоявшую на нём одежду, укутали в тёплые вещи, пытались о чём-то спросить, но он смотрел на нас невидящим взглядом, отвечал невпопад, а потом начал бредить, то и дело заходясь в тяжёлом кашле.

Очнувшись, Олег с трудом рассказал, что тридцать километров от Елбани, куда его на ремонтные работы в МТС снова отправил Терехов, он более суток шёл домой по бездорожью в сорокаградусный мороз. Его отпустили домой, когда убедились, что он действительно сильно болен. Просто разрешили покинуть МТС — иди...

Ночь прошла в тревоге, без сна. Поутру мама кинулась к Терехову. Тот велел отпустить для нашей семьи молока, муки, масла — всего понемногу, и дал каких-то таблеток. Мама просила у Терехова лошадь и сани, чтобы отвезти Олега в Маслянино, в больницу, но Терехов отказал: «Лошадей мало, половину град искалечил. Дороги нету. Снег глыбкий. А ежели лошадь ногу сломат? На носу посевна. Лихорадка, поди... Ничё, молодой — выжит».

Мама поила Олега горячим молоком, растирала грудь и спину раствором трав, давала тереховские таблетки, но толку было мало. Олег пришёл в себя, ел понемногу и нехотя рассказал, как застудился, валяясь под трактором в мастерской, где отовсюду сквозило холодом, как его недели две лихорадило, но он всё равно ходил на работу.

Переход из Елбани в Петушиху был для него, видно, настолько мучительным, что в какой-то момент своего рассказа, махнув рукой, он умолкал, на глаза наворачивались слёзы. На этом пути Олег и промёрз окончательно: ватная фуфайка — не для сорокаградусного мороза.

Шёл наобум лазаря, то и дело сбиваясь с дороги, признаки которой ещё сохранялись в тайге, а в полях были напроочь заметены так, что искать её продолжение приходилось, обходя края поляны, увязая по пояс в снегу. Только одно и было хорошо — ярко светила луна, заливая белым светом снежные равнины, да жгучий ветерок вовсе утих. Иначе б Олегу не выбраться из сугробов, он так и застыл бы в них — усталость валила в сон...

Проходили дни, закончился январь, но Олегу становилось всё хуже, он не мог уже встать со скамьи, и я видел, как, отвернувшись к стене, мой брат молча плакал.

Мама решилась позвать кáркалок — пусть погадают, свои снадобья попользуют, какой-никакой, а шанс. И направила меня передать им свою просьбу.

Жили кáркалки на правой стороне ручья Ключик, пересекавшего Петушиху прямо посередине и уходившего в сторону sóгры у Чёрной речки. Первым на этой стороне деревни стоял дом жившего в Петушихе единоличником и бобылём, похожего на тронувшегося умом человека по прозвищу «Лал-мотí-не надо», а второй была изба кáркалок. Высоченную ростом и большущую другими размерами кáркалку звали Ефросинья, а её сухонькую и сгорбленную сестру — Авдотьей. В эту часть Петушихи без нужды мало кто заглядывал: и люди там жили странные, и sóгра — ни грибов, ни ягод здесь нет, зато всегда комары и мошкара тучами выются. В этом месте так и веяло какой-то чертовщиной.

К избе кáркалок с большой деревенской дороги даже тропинки никто не пробил, снег лежал нетронутым, будто только что навалило. То и дело оставляя в сугробе свои безразмерные пимы, я всё ж добрался до загадочных бабок и постучал в окно. Кáркалки по очереди глянули на меня через стекло, потом впустили в избу. Я рассказал о нашей беде. Кáркалки сочувственно заохали и отпустили меня, повелев ждать их сей же день.

Пришли они вскоре. Едва Ефросинья вошла в нашу избу, оказалось, что места в ней, кроме самой Ефросиньи, нет никому — ни её сестре Авдотье, ни схожей с Авдотьей в миниатюрности нашей маме, ни нам, её малым детям. Надо думать, такое случалось не впервой, потому как Ефросинья, ещё не сняв полушубка, усадила маму в угол, к печке, и тоном, не допускающим возражений, велела сидеть тихо и не мешать; Иринку загнала на полати, а меня — на печку, задёрнув занавеску и приказав не высовываться. Но я, конечно же, не мог удержаться, подглядывал.

Разоблачившись, гадалки остались в чёрных до пят платьях и чёрных платках, и в самом деле, как говорил когда-то Петька Татарников, стали похожими на двух ворон. Перекрестившись в «святой» угол, хотя иконы в нём не было, они принялись за Олега, отрешённо наблюдавшего происходящее.

Гадалки раздели Олега донага и в четыре руки ощупывали его донельзя исхудавшее тело, то и дело перешёптываясь меж собой, надавливая в отдельных точках так сильно, что Олег вздрагивал и постанывал. Потом они одели его, укрыли.

— На мой ум, трясуница, — сказала Ефросинья.

— На мой ум падает та ж мысль... Трясуница его бьёт, — согласно закивала Авдотья. — Иначе молвить — лихорадка, — обратилась она к маме. — Трясучий родимец затрясёт, не дай господь. Плоха болезнь. Однако заговор и оберег имеем...

Ефросинья вынула из холщовой сумки два пучка травы, запах которой тут же разнёсся по избе, один пучок подложила Олегу под пятки, второй — под голову. Потом снова перекрестилась в «святой» угол и громко запричитала:

— Ва имя Атца и Сына и Святого Духа. Аминь. У начале бе Слова и Слова бе то к Богу, и Бох бе Слово.

Затем те же слова скрипучим голосом произнесла Авдотья, после чего присела за стол, достала три корки хлеба и что-то накарябала на каждой из них карандашом.

Потом Ефросинья и Авдотья встали рядом и быстро запричитали, выкрикивая какие-то слова и разом вскидывая руки, и мне вдруг опять показалось, что по избе летают и каркают две вороны...

Уходя, каркалки с суровым видом наказали маме, чтобы три дня подряд на утренней заре Олег съедал по одной корке оставленного ими хлеба. Ещё преподнесли настой каких-то трав. У порога Ефросинья сказала:

— Яму б мяса... Худой совсем, откель сила-то? Мы б дали, да курей-то град побил, съели. Осталась несушка да петухан...

Перекрестили каркалки всех нас одного за другим — маму, Ирину, меня, потом уже с улицы положили несколько раз крест на нашу избу и ушли.

На четвёртый день Олегу стало лучше, он даже встал, посидел на лавке, пообедал с нами за столом, хоть от этих усилий пот градом лил с его лица, а рубаха на груди и со спины была мокрой... Радость наша продолжалась, однако, недолго: через день Олег снова слёг, у него то поднимался жар, то его знобило и трясло от холода.

В ту самую пору почтальонша принесла нам письмо, но не то, которое мы так ждали, — из Ленинградского горисполкома о новой квартире, а опять из Маслянинского райвоенкомата, в котором говорилось, что сыну погибшего лейтенанта М. Ф. Ильинского — Игорю, то есть мне, предлагается поступить в Суворовское училище.

Это было ещё одно событие из разряда чудес: где-то кто-то в огромной разрушенной войной стране вдруг вспомнил, что в глухой сибирской деревушке живёт семья погибшего лейтенанта Ильинского, а в ней есть мальчишка, сын погибшего лейтенанта, и он, быть может, хочет стать военным, офицером, как его отец. А это

так и было! Я мечтал об этом, как многие мальчишки тех лет...

Правда, я хотел стать не артиллеристом, а лётчиком. Мечта эта зародилась во мне давно. Однажды, лёжа в копне сена, я наблюдал за парением коршуна, и вдруг представил, что это не коршун, а я кружу высоко-высоко в небе, и у меня по телу почему-то побежали мурашки... Мечта эта укрепилась во мне, когда, вот так же следя за игрой облаков, я увидел в голубом разрыве между ними серебряный «карандашик» и понял, что это на запредельной высоте летит самолёт, а в нём — человек, и человек этот — я, Игорь Ильинский... Выше коршуна, выше орла... Тогда я сказал себе: «Вырасту — стану лётчиком...»

Ответ в военкомат надо было дать немедленно, с почтальоном. Но в тот момент все мысли нашей семьи были об одном — лишь бы поправился, встал на ноги Олег. А он таял на глазах...

И тогда мама снова пошла к Терехову, и тот, поворчав, всё же дал наконец лошадь, посадив возницей кого-то из стариков. Олега погрузили в сани, укутали, накрыли тулупом, и мама увезла Олега в Маслянино.

Сани на следующий день вернулись. Мы с Ириной стали ждать, когда же появятся мама с Олегом.

Было начало марта. Неожиданно для того времени ударила оттепель. По несколько раз в день я уходил от дома на притаёжную часть дороги, поближе, может, на километр, к Маслянино, чтобы хоть на несколько минут скорее увидеть маму с Олегом. Дни проходили, а они не возвращались...

И вот однажды, едва выйдя за околицу, я увидел маму, уже совсем близко. Она шла, шатаясь из стороны в сторону, словно сильно пьяная. Я кинулся к ней с радостным криком: «Мама! Мамочка!..», но она даже не остановилась, не обратила на меня никакого внимания. И я тихо поплёлся следом за ней в страшной догадке...

Мама вошла в избу, села на лавку не раздеваясь, и вдруг страшно закричала: «А-а-а!.. А-а-а!..»

Через два дня привезли мёртвого Олега. Сутки он лежал в избе на том же месте, где болел. Деревенские старики сколотили кое-какой гроб, выдолбили в мерзлой земле могилу. На следующий день Олега похоронили.

К несчастью, деревенское кладбище находилось метрах в ста пятидесяти, прямо перед оконцами нашего дома, и из них был виден белый деревянный крест на Олеговой могиле. Мама весь день дотемна молча сидела у окошка и неотрывно смотрела на этот крест. Она совсем пала духом, глаза её, и без того всегда печальные, стали совсем безжизненны, и казалось порой, что по избе движется молчаливая, безулыбчивая тень мамы, но не сама наша мама. На нас с Ириной она не обращала никакого внимания. Мы с сестрой подолгу и нервно засыпали, часто и с тревогой просыпались, а она всё сидела у окна. Так прошёл день, второй, третий...

Однажды днём мама резко встала со скамьи и вышла из избы. Через некоторое время, будто почувствовав что-то неладное, я тоже вышел во двор. На улице мамы не было. Я вернулся в сени и вдруг слышал какой-то звук в коровнике. Открыл дверь и увидел, что мама стоит на табуретке, а на шее у нее верёвка.

Я истошно закричал: «Мама!..» Некоторое время мама молча смотрела на меня, потом сняла с шеи петлю, сошла с табуретки, молча обняла меня за плечи, и мы так же молча вошли в избу..

После смерти Олега мама приходила в себя очень долго. Всё делала автоматически. Смерть преследовала нашу семью, но страшнее всего она ранила, конечно, не меня и Ирину, а маму: погиб муж, отец двоих её детей, которых надо теперь кормить и растить в одиночку; умер сын-первенец (я и тогда это понимал), самый любимый ребёнок.

Моей маме в ту пору было всего сорок два года, но сегодня, когда я думаю о ней, мне кажется, уже тогда она безмерно устала от своих нескончаемых с детских лет скитаний, от блокадных страданий и скуки петушихинской жизни, а после двух трагических потерь, следующих одна за другой, утратила всяческий интерес к жизни. Захваченная мыслями о смерти, она не хотела и забывала жить. Об этой грустной необходимости ей напомнил я, когда она стояла с петлёй на шее, а теперь каждый день тягостной деревенской жизни ей снова и снова говорил, что умереть — дело скорое и более легкое, чем жить...

Мне кажется, в те месяцы я резко повзрослел, хоть не вполне, но всё же понял: если мы с Ириной повиснем грузом на маминых плечах, ничем не помогая ей, она не выдержит: ей нечем было накормить своих детей и нечего было есть самой. Как мог, изо всех своих мальчишеских сил я старался находить еду где только можно.

Ставил петли на заячьих тропах, но лишь однажды вернулся с добычей. Обычно, когда я приходил ранним утром, чтоб проверить засаду, мне оставалось только горевать: лисы раньше меня потрошили попавшихся зайцев, оставляя на снегу лишь хвост да уши.

Я научился делать из глины манок и сшибать палкой с деревьев доверчивых бурундуков, мяса в которых меньше, чем в перепёлках, да ещё запашок неприятный, но голод — не тётка...

Голь на выдумки хитра!.. Однажды в мою голову пришла сумасшедшая мысль — убить глухаря. Ведь это пять, а то и шесть килограммов мяса! Я же слышал не раз, что глухари уже начали токовать, примерно догадывался, где их токовища — из года в год глухари собираются в одних и тех же местах...

Как только установился наст — толстая леденистая корка подтаявшего при дневном солнце и замёрзшего за ночь снега, — я ранним утром на лыжах-самоделках за несколько

дней облетел ближайшие места, откуда слышались глухариные щелчки и удары. Нашёл одно токовище — на поляне, вдалеке от деревьев.

Глухарь — птица очень осторожная. Это было издавна ведомо всем петушихинцам. Как и то, что глухари, зимой живущие поодиночке, весной слетаются в определённые места и начинают токовать: распушив перья и возбуждись до предела, дерутся порой до смерти меж собой за самок. Но всё это было известно из рассказов стариков, имевших когда-то ружья и бывших глухарей на охоте. Теперь в деревне ружей не было. Посмотреть на глухариные бои, кому хотелось, можно было лишь издали, толком так ничего и не увидев: глухарь теряет осторожность ненадолго, только пока «тóчит», когда страсть глушит его слух — оттого и «глухарь»...

Подбить глухаря — мысль хорошая. Но как это сделать? И я придумал: попробую подстрелить из лука. Как делали это на охоте дикари.

А лук у меня был, и стрелы тоже... Летом стрельба из лука была одной из любимых детских игр. Изготовить лук — нехитрое дело. Находишь достаточно толстый, но гибкий тальник, делаешь тетиву из прочной льняной дратвы, натягиваешь её на дугу; нарезаешь сухих камышовых стеблей, изготавливаешь из консервных банок наконечники, затачиваешь их, насаживаешь на камышину плотно и точно по центру — и стрела готова. Лёгкая, быстрая, точная, если камышина прямая да стрелять умеешь. Я умел.

Изладил из хвороста караулку, притащил её днём поближе к токовищу и два ранних утра сидел в ней тише мыши, ждал, пока прилетят глухари, присматривался. Слышал, как чуть раньше где-то в стороне от токовища собирались самки. Но вот раздавалось тяжелое хлопанье крыльев, на круг токовища один за другим, как бомбардировщики, грохались глухари.

На третье утро я притаился в караулке и замер, пока не начались бои. Выстрелил. Когда подстреленный глухарь, волоча крыло, пошел в сторону, а потом упал, остальные замолчали и замерли. Я уже стал было закладывать новую стрелу, но глухари вдруг всполошились и улетели.

«Вот если б столько мяса добыть раньше, может, и Олег остался жить», — думал я, возвращаясь домой... Ещё не раз ходил на это токовище, но глухари не появлялись.

Когда стоял снег, всей деревней стали собирать колоски на полях, перекапывать картофельные поля. Иногда в старых картофельных гнёздах попадались гнилые, с крахмалом под кожурой картошины. Пошла зелень — дидли, гусинки, саранки, пучки, молодая крапива. В эту пору помирать грех.

Из гнилых растолченных картошек и перемёрзшего крахмала, добавив в эту серую кашу немножко куколя, несколько щепоток ржаной муки, мама жарила на раскалённой сковородке лепёшки. Каким же вкусным казалось это жарено! Мы уплетали его, только треск за ушами стоял.

Эхо колыванского бунта

Многие годы проживал в Петушихе мужик по прозвищу «Лал-моти-не надо». Лет сорока пяти, приятной наружности, выделявшийся из деревенской среды своей одеждой, сшитой когда-то из хорошей ткани, хромовыми сапогами с высокими голенищами, а также домом в две связки, большим и самым ухоженным, крытым крепким тёсом. Стоял дом у согры, перед избой каркалок, двор был огорожен высоченным «заплотом» — доска к доске, даже щелочки не было, чтоб заглянуть вовнутрь. Имел «Лал-моти-не надо» корову, овец, гусей, кур. В колхозе не состоял, жил бобылем, ни с кем не общался, в дом никого ни при каких случаях не впускал. На людях появлялся крайне редко, будто его в деревне и не было вовсе, если бы по ночам сквозь

щели крепких ставней не пробивался лучик света от керосинки.

Звали мужика Василием Ивановичем, фамилия — Федорчук. Прозвище «Лал-моти-не надо» закрепилось за ним от того, что в речи своей имел он словесную заставку-паразит, которую употреблял в ласковой и тихой речи так часто, что иногда невозможно было понять, о чём же он говорит: «Иду я к вам, лал-моти́-не надо, а по пути, лал-моти́-не надо, встречаю Ивана, который, лал-моти́-не надо...» И всё в таком роде.

А заговариваться стал, поскольку свихнулся с ума ещё в ту пору, когда участвовал в коллективизации — создавал колхозы и где-то кулачил богатых крестьян. Дело это было жестокое: у кулаков не просто отбирали их добро, но многих упрятывали в тюрьму, а если сопротивлялись, то и расстреливали. И «середняки» в колхоз шли не всегда добровольно, многие упирались. Кем был Василий Иванович в те суровые годы, какая случилась с ним беда, от которой он, быть может, и помешался умом, никто не знал.

В жизни нашей семьи Василий Иванович появился вскоре после того, как умер Олег. Мы голодали и были в полном отчаянии. Однажды вечером в дверь избы постучали, что в Петушихе не было принято, и вошёл Василий Иванович. Был он высок, как говорили в Петушихе о таких людях, «полтора Ивана». Принёс картошки, молока, масла. Всего понемногу. Поздоровался, улыбнулся и тут же попрощался, сказав, чтобы я пришёл к нему за продуктами через два дня.

Всё это выглядело странно и непонятно, но как нельзя больше кстати. Я стал регулярно навещать к Василию Ивановичу: сначала стучал в окно, он выглядывал, потом шёл отпирать калитку. Так продолжалось месяца полтора.

В один из первомайских дней, вручив мне очередной набор еды, Василий Иванович неожиданно сказал:

— А посиди-ка со мной, паря... Расскажи, что там учительница ваша о колыванском восстании говорила... Интересно?

— Интересно, — ответил я.

И замер с открытым ртом: Василий Иванович произнёс несколько фраз безо всяких «лал-моти́-не надо», а «паря» вставил так, было замечено — с ехидцей.

— Да ты рот-то закрой: ворона залетит, — усмехнулся Василий Иванович. — Ну, рассказывай, а потом спросишь чего, если захочется.

С пятого на десятое, как запомнил, я пересказал Василию Ивановичу услышанное из уст Марии Ивановны.

Он слушал меня внимательно, не перебивая. А когда я умолк, долго молчал, качал головой, уперев глаза в пол.

— Верно говорила учительница. Так это и было... «Власть остаётся советская, но не коммунистов», «призываем встать на защиту самих себя против коммунистов...» А кто понимал тогда, что такое «коммунизм», «коммунисты»?.. «Власть советов — наша? Защитим нашу власть, самих себя!..» «Истребить коммунистов и сочувствующих ради самих себя? Истребим!..» Хитро и умно всё было устроено... Да-а... Стихия... Народ — дитя: пуглив, доверчив, глуп... Вот когда начался расстрел на месте тех, кто не хотел идти «самих себя защищать», вот только тут и стали репу свою чесать... Да-а... Вся Россия раскололась... Сначала бедные шли на богатых, а тут уже — и бедные на бедных, брат на брата, сын на отца... Русские на русских... Это и называется «гражданская война»... Одного не сказала ваша учительница: много мерзавцев присосалось к новой власти с первых её дней... Я ведь тоже кулачил, продотрядом командовал. Всем было указано: забирать только излишки хлеба и мяса. Лучше — по доброй воле, с согласия... Это, конечно, для красного словца сказано было... Но мой отряд отбирал только излишки. А в других всякое бывало... Выгребали из сусеков всё, семена тож. А чем хлебоборбу весной поле

засевать?.. Да если б только... Иные одежду отбирали. Дескать, голы-босы, воевать не в чем. А кто не отдавал, под расстрел... Это и вывело крестьян из себя, вот и встали на дыбы... И что тут удивительного? Рабам над рабами власть дали, вот и выкорёживались... Я-то эту проклятую работу из-за идеи делал... Я из московских рабочих — большевиком был... А остальные-то... темень беспросветная, гольшмоль перекатная... Потом в Красную армию направили. Воевал. Ох и насмотрелся я!.. И что вышло в результате? Вот уже пятнадцать лет под дурачка играю... Да-а...

Василий Иванович говорил медленно и, как понимаю сейчас, не столько со мной, сколько сам с собой, вслух размышлял. С чего вдруг? Зачем? Не знаю. Но общий смысл его слов был таким, точно.

Василий Иванович помолчал, долгим взглядом посмотрел на меня:

— Ну, о чём спросить хочешь?

— Про «лал-моти-не надо»...

— Так и знал... Долгая история. Если болтать не будешь, в следующий раз расскажу... Дай слово, что о нынешнем не сболтнёшь?.. Иначе худо мне будет...

Честное слово я дал. Никому ничего, даже маме, вернувшись домой, о поразившем меня разговоре не сказал.

Но следующей беседы с Василием Ивановичем у нас не вышло. Его убили...

Через два дня, как обычно, ранним утром я понёсся к его дому босиком по покрытой густым инеем молодой травке, будто по горящим углям. Подлетел к дому, постучал в окно, но Василий Иванович не выглядывал, а внутри дома глухие удары — «бум-бум»... Постучал в окно раз, два... Только «бум-бум». Смотрю — калитка приоткрыта. Вошёл во двор — дверь в дом нараспашку. Странно... Такого Василий Иванович никогда не допускал. Уже с испугом шагнул в сени, открыл дверь в избу — и онемел от ужаса: Василий Иванович лежал на кровати ногами ко мне и судорожно бил

ими в стену, а всё вокруг — сам он, пол, стены — залито кровью.

Я выронил крынку и с криком кинулся домой, потом в правление колхоза...

Терехов быстро снарядил подводу, Василия Ивановича повезли в Маслянино, но по дороге он умер...

Шёл май сорок восьмого года... Надо было снова думать об огороде, о семенах, и особенно о картошке: без коровы в деревне трудно, а без картошки — не прожить.

Мы с мамой отправились в Талицу: но картошки не продал нам никто. Хотя здесь град прошёл не такой убийственный, как в Петушихе, а всё ж урон нанёс, урожай сняли скудный.

— Вы к Агафону, на заимку, дойдите, — посоветовала нам хозяйка в одной из изб. — Его град, кажись, и вовсе миновал. Тут-ко рядом, версты две, не боле... Вот по этой тропке скрозь тамарчук, апосля полем... А там и сами углядите...

Сибирские вёрсты никем не меряны, а потому добрались мы до Агафоновой заимки нескоро, вконец усталые и грустные: а вдруг и здесь откажут?.. Как быть тогда?..

Наконец, увидели заимку и не поверили своим глазам: перед нами стоял дом в два этажа, с высокими окнами, стекла которых поблескивали в лучах уже клонившегося к вечеру солнца. Таких домов не было ни в Петушихе, ни в Талице. «Ошиблись! — решили мы. — Пришли куда-то не туда». Но всё ж решились постучать железным кольцом в ворота высокой ограды. Когда же они открылись, мама и я обомлели: перед нами стоял плешивый старичок, несколько лет назад везший нас из Черепаново в Маслянино. Он был сильно пьян, с саблей в руке.

— Кто таки? — невидящим взглядом обвёл старик сначала маму, затем меня.

— Агафону!.. — начала было мама.

— Цыц! — крикнул старик.

Надо думать, это относилось не только к маме, но и к двум бешено лаявшим и рвавшимся с цепей псам.

— Кто таки? Пошто пришли?..

Мама начала рассказывать, как он, Агафоныч, вёз нас из Черепаново, про убитого папу, про умершего Олега, про град и голод в Петушихе... Агафоныч слушал, широко расшперилив ноги, ухватившись за косяки ворот, переводил свой мутнеющий взгляд с мамы на меня, с меня — на маму и не впускал нас в дом. Даже собаки устали лаять и улеглись у конуры, положив морды на лапы, а Агафоныч всё стоял молча и всё больше пьянел у нас на глазах. Сабля выпала у него из рук, он нагнулся, чтоб поднять её, и рухнул лицом в траву, но саблю всё ж ухватил за рукоятку.

Мама кинулась его поднимать, я за ней. Агафоныч огрызался, но, опираясь на наши плечи, переставлял ноги, и мы со второго захода, преодолев высокое крыльцо, все трое ввалились в сени, а затем и в комнату, усадили Агафоныча за стол с бутылкой самогона, солёными огурцами и ещё тёплыми картошками.

Увидев «четверть», Агафоныч чуть ожил, ухватил бутылку двумя руками, налил доверху гранёный стакан, уже открыл рот, чтоб выпить, но тут мама закричала умоляющим голосом, да так громко и отчаянно, что рука Агафоныча со стаканом застыла в воздухе, а потом, будто мёртвая, грохнулась на стол. Самогон брызнул Агафонычу в лицо, на рубаху.

— Ты чё орёшь? Ты чё — сдурела, баба?.. Ты чё ко мне припёрлась?.. Не помню я ты и не знаю. Кады это было?.. Черепаново...

— В сорок втором, в конце августа... Шла война... «Блокадники», из Ленинграда... Ты ещё говорил «не жилища» я, а вот выжила. А муж погиб. А сын умер...

— Ована!.. Припоминаю! Такой длинношей, шустряк, да? Консомолец, да? А муж-то партийный, да? Дак и баско, чё так устроилось!.. А вы, стал быть, с голодухи подыхаете? Дак и подыхайте! Все подыхайте! Ненавижу!..

Агафоныч поднялся со скамьи и с криком начал кромсать её саблей, только щепки летели во все стороны. Мы с мамой кинулись прочь, но Агафоныч встал поперёк нашего пути.

— Чё, наложители в штаны? Изрублю сейчас на куски и псам отдам!

— Умоляю, Агафоныч, пожалей!.. — кричала мама.

Но видно, выорался, испустил из себя всю злобу Агафоныч, отшвырнул саблю в угол, сел на табурет, охватил руками голову и долго молча рыдал.

— «Пощади», «пожалей»... — наконец проговорил он. — Да я сызмальства всех жалел... Жил без гроша. Вставал вровень с солнушком... Рóбил как лошадь с ранешней поры до ночной... копил копеечку. Помаленьку забогател... лавку в Колывани завёл... апосля фабричку прикупил... Золотишко стал промышлять... Горбатился, горбатился, ну и других горбатил... А как же! Сильный дом построил, восемь комнат! А как же!.. Восемнадцать душ в этом доме жили, семья!.. А пришли коммунисты... вся власть советам... всё поотбирали, зятка пристрелили... што жену оборонить хотел... Я в момент старым карганом стал... А как не постареш, как не заболеш? А счас? Безо всякова якова один хозяйствую... А хто мне делать будет? В одиночку... Скоко ж годов?.. Забыл...

Агафоныч помолчал, хлебнул остатки самогона из стакана, хрустанул огурцом.

— Восстали... А как же? Долго дрались, много кровушки утекло, а уж шустряков рубали — у-ух!.. Словили мя... Ну, откупился, спрятался... Агафоныч... Агафоныч... Ха-ха... А как же? Жену потерял, сыны в бегах да в лагерях... И за што мне таку кару довелось пережить? За чё мне така жись? Молод был, а в момент старым карганом стал... А лонись верный человек молвил, чё сыны мои на свободе... А сёгоды поутру баил, кабыть отыскали и зарезали они вражину моего главного, да словили их и таперя точно стрельнут...

— Агафоныч, нам бы картошки на посадку, не продашь? — робко произнесла мама.

— Чё? — взъерился Агафоныч. — Я те про чё баю? Сынов под расстрел, а она... Те чё надо?

— Картошки, Господом Богом умоляю, на коленях, продай нам картошки...

— Ишь ты, про Господа заговорила, на коленях... на коленях умоляш? Давнесь не стояли пред мной на коленях!.. Ну, становись на колени-то, как ты... Крестись...

И мама опустилаcь на колени, перекрестилась, глядя на Агафоныча как на божество.

— Четыре пуда надо... Вот деньги... Умоляю, Агафоныч! За мужа получила, похоронные... Разве ж мы виноваты в твоей беде? Пощади!

Агафоныч опять долго пялил пьяным взором то на маму, то на меня. Потом взял из маминых рук деньги, посплюнвил пальцы, пересчитал деньги и молча возвратил маме. С трудом залез в подпол, вывалил по два ведра картошки в наши мешки, вытащил их в два приёма во двор, погрузил на двухколёсную тележку и так же молча, шатаясь из стороны в сторону, покатыл её к Талице через поле и тамарчук. На околице деревни взвалил мешки на мои и мамины плечи и горько усмехнулся:

— Вона как выходит... Эт докель же тащиться-то? Вот жись...

Повернулся и поплёлся с тележкой на заимку.

Мама поклонилась ему вослед и заплакала.

Сгорбавившись под тяжестью груза, мы шли поначалу довольно бодро, счастливые уже тем, что раздобыли семена, — вот она, картоха, на нашей спине, и уже чуть проросшая, осталось наковырять «глазков» и засадить огород, а значит, через месяц гнёзда можно подкапывать и — прощай, голодуха! А то, что пьяный Агафоныч орал на нас, размахивал саблей, грозил порубить на куски и выбросить псам, казалось небылью, привидевшимся во сне кошмаром.

Долго молчавшая мама вдруг тихо, почти про себя, сказала:

— А он всё-таки добрый, Агафоныч...

Мы не прошли и нескольких сот метров, как мама резко остановилась, мешок сполз с её спины на землю:

— У меня сердце сейчас разорвётся... Отдохнём...

И села прямо на пыльную дорогу.

— Давай поделим наши мешки на две половины, слева — ведро, справа — ведро, повесим на шею, может, так будет легче нести? — предложила мама.

Так и сделали. Навьючились. Но дорога, ох, эта дорога — вся в колдобинах! Чуть оступился, мешки кидают тебя то вперёд, то вбок, и тут дай бог устоять на ногах. С каждым шагом груз наш становился всё тяжелее, и не то чтобы нести его, но и поднять с земли, взвалить на плечо или на шею стало нам уже не под силу. Мы просто волокли мешки по дороге, даже не пытаясь поднять их. Хотелось пить и есть, но ни едой, ни водой в Талице мы не запаслись — голова была занята одним: где купить картошку. Мама достала из кармана перочинный ножик, выковырила «глазки» из двух картофелин, протёрла их о своё платье и прямо с кожурой, сырыми, мы съели их.

Мы волоклись еле-еле, отдыхали через каждые сто-двести метров. На полпути до Петушихи мама сказала:

— Я дальше идти не могу... Ты же знаешь, сыночка, у меня большое сердце. Мне кажется, я вот-вот умру... Я останусь стеречь мешки, а ты беги в деревню, найди Терехова, объясни, пусть пришлёт подводу...

И заплакала. Она часто теперь плакала, мама моя. Я не мог видеть, как она плачет, и тоже плакал.

— Вот... война... А жили ведь мы хорошо уже... И квартира была, и получка у папы хорошая, и я неплохо зарабатывала... Всё налаживалось, всё, как надо, было... И вот — война... Папу убили. Олег умер. Ни бабушку твою, Татьяну Семёновну, ни тётю Нину, ни тётю Валю твою найти не мо-

жем. Наверное, тоже погибли... Ты ведь знаешь, я делала запрос во Всесоюзный розыск... Боже мой, как же нам выбраться из этой тьмутаракани?

Позади вдруг послышался вскрик «Н-но!..» Из-за лесочка выскочила на рысях подвода, правил которой мальчишко возрастом, пожалуй, помладше меня.

— Тпру-у-у! — Остановил он кобылу. — Это вы блокадные, чё ли? Агафоныч велел пособить. Дохляки, говорит, смотреть не на чё! Ну, грузитесь...

А через несколько недель Терехов сообщил петушихинцам, что убийцы Василия Ивановича пойманы и осуждены к высшей мере — к расстрелу; что это сыновья бывшего заводчика Прохорова, одного из руководителей колыванского бунта, который сменил фамилию и проживал под носом у властей в Талице, на заимке, звался Агафонычем, а теперь арестован.

Рассказал Терехов и о том, что убитый Василий Иванович Федорчук — «Лал-моти́-не надо» (настоящая его фамилия Евсеев) — в годы Гражданской войны был командиром продотряда в какой-то российской губернии. Сам москвич, работу свою делал честно, отличился, за что его призвали в Красную армию и дали немалый чин. Когда вспыхнул колыванский мятеж, Евсеев со своим полком ловил банду этого самого Прохорова, колыванского заводчика, и разбил её, а Прохорова вместе с двумя его братьевыми арестовал. Только Прохоров подкупил заместителя Евсеева, и тот ночью выпустил всех троих.

Но надо же так случиться, что в последний момент Евсеев заметил побег и почему-то не стал поднимать «тревогу», а в одиночку бросился догонять беглецов. И гонялся за ними по тайге целые сутки. Выследил и застрелил братьев. А Прохоров всё же сбежал.

А пока Евсеев сутки шарил по тайге, его заместитель, перетрусив, отбил командованию в Новониколаевск, в Сибревком, телеграмму, в которой сообщал, будто Прохоров

подкупил Евсеева, и тот отпустил его вместе с братьями, а сам скрылся. Из Новониколаевска пришёл приказ: арестовать Евсеева и доставить в реввоенсовет. Исполнить приказ поручалось этому самому заместителю Евсеева.

Когда Евсеев вернулся, его заместитель заявился к своему командиру с двумя красноармейцами, зачитал телеграмму и приказал сдать оружие. Евсеев понял, что произошло, и застрелил заместителя, а когда красноармейцы кинулись на него, то в запале прикончил обоих. И тут понял, что прощения ему не будет ни при каких объяснениях. Забрал золото и драгоценности, лежавшие в котомке заместителя, и ударился в бега...

В Петушихе Евсеев появился пятнадцать лет назад под фамилией Федорчук, вступил в колхоз, построил дом, потом «сошёл с ума», стал одиноличником. А где скрывался до тех пор, так и неизвестно... В Петушихе вёл себя тихо и смиренно.

О том, что Евсеев под фамилией Федорчук обосновался в Петушихе, как-то стало известно Прохорову — Агафону, который имел двух взрослых сыновей. Он сказал им, что у Евсеева должны быть золото и драгоценности. Его надо убить, а богатства забрать — негде было потратить их Евсееву среди всеобщей бедности. Но именно в тот момент сыновей Прохорова арестовали — они занимались грабежами. Оба получили по пятнадцать лет лагерей. И вот недавно вышли на свободу...

Несколько дней следили братья за Василием Ивановичем, спрятавшись в кустарнике сокры, что рядом с его домом. И в ночь перед убийством, когда «Лал-моти-не надо» куда-то отлучился, забрались во двор, зарылись в стог сена и под утро пробрались в дом — запоры у Василия Ивановича были немудрёными для мастеров грабежа.

Убивали Василия Ивановича долго и жестоко, хотя, как признались на допросе братья, они думали прикончить его одним ударом — в горло. Но удар вышел неточным,

не смертельным. Обливаясь кровью, Василий Иванович вскочил с кровати на ноги, вслепую расшвырял бандитов, но силы оставляли его. Ударив Василия Ивановича несколько раз ножами в грудь, братья скинули его в подпол и начали шарить по сундукам и сусекам в поисках денег и золота...

Вдруг крышка подпола с грохотом открылась, и Василий Иванович встал в комнате во весь рост, будто не было на его теле ножевых ран, схватил табурет и начал в предутреннем сумраке наугад крушить всё вокруг, попадая и по братьям. В избе стоял невероятный шум, его могли слышать кáркалки да и в дальних избах. Это испугало убийц. Они кинулись наутёк. А Василий Иванович навзничь упал на кровать и, умирая, в агонии колотил ногами в стену.

В этом положении я и увидел его, эти удары «бум-бум» я и слышал в то холодное майское утро...

Многое в этой истории может показаться невероятным... Спасаясь от иска, два разных человека прячутся не в дальних даях, а под носом у ищущих, на месте своих преступлений... Оба уходят от повседневного общения с людьми... Оба играют: один — под тихого сумасшедшего, другой — под больного, дряхлеющего старика. Играть эту роль Агафону с каждым годом становилось всё легче: в пору колыванского бунта ему было уже за сорок... А вот Василию Ивановичу и в землю лечь предстояло дурачком...

Два преступника. А изначально — два нормальных, добрых, по-своему достойных человека, судьбы которых изломала одному — революция, другому — бунт, как следствие этой революции.

Две жертвы стихии...

Жизнь сама по себе, как явление, в сущности своей — величайшая случайность и невероятность, а жизненный процесс — их тесное и бесконечное сплетение. Нет ничего возможнее невероятности...

Прощание с Петушихой

После несчастий и потерь человек становится смиреннее и покорнее.

Мама, а вместе с нею и мы, её дети, устали ждать письмо из Ленинграда и вообще надеяться на то, что оно всё-таки придёт. Надежда спряталась глубоко в наши души, её огонёк еле тлел. В очередное лето мы делали всё ту же работу, которую выполняли в предыдущие несколько лет в мае, июне, июле... Вспахивали огород, засаживали его «глазками» картошки, подаренной нам Агафонычем, засеивали грядки семенами разных овощей, поливали их, пока не появились и не окрепли всходы, окучивали кусты картошки, заготавливали дрова...

Однажды мама даже проговорила: «А не купить ли нам корову?», но тут же отрезала: «Не может быть, чтобы о нас забыли! Надо ждать». Но кур мы уже завели. Словом, исподволь существовала мысль, что нам, возможно, придётся и зазимовать в Петушихе.

На душе у всех было тревожно. Крест Олеговой могилы мы видели каждый божий день по множеству раз помимо своей воли... Он вызывал в нас беспокойство и тревогу, которые в том году, наверное, и составляли основной смысл нашей жизни, хотя это относилось прежде всего, конечно, к маме с её эмоциональной натурой. Но и мы, дети малые, под прессом бесконечных тягот, кажется, обрели качество, свойственное старым людям, — мудрость: мы находили радость в ритме каждого дня и часа жизни, стараясь не впадать в тоску, не замечать мелких неурядиц, которых никто не может избежать.

Мы так долго ждали письма из Ленинграда, что когда в середине июля почтальонша перво-наперво подошла к нашей избе и передала маме конверт, это стало для нас такой неожиданностью, будто гром грянул средь ясного неба. Но ещё более удивительной, потрясшей нашу маму ново-

стью было то, что письмо это было не из Ленинграда, а от её старшего брата Матвея Ивановича, о котором она ничего не знала около десяти лет. Перед войной прислал письмо, что живёт в Витебске, и как в воду канул...

Теперь, в письме, Матвей Иванович рассказывал, что его в тридцать девятом году призвали в Красную армию, что он воевал с финнами, потом с немцами, в сорок пятом году был тяжело ранен и эвакуирован в военный госпиталь города Новосибирска, где работает сейчас санитаром. Долго разыскивал нас и вот — нашёл. А в конце письма — неожиданный поворот судьбы и радость — Матвей Иванович приглашал нас перебираться к нему в Новосибирск и жить-бытовать вместе с ним на улице Нарымской, где он снимает комнату у одинокой и очень доброй женщины Глафиры Ивановны. Если мы примем его предложение, то он тут же оформит у властей официальный вызов.

Мы были счастливы. На обратном пути почтальонша захватила мамино письмо Матвею Ивановичу: «Скорее, скорее присылай вызов!..»

И тут же, будто вызов этот был уже на руках, мама начала хлопотать, собираясь в дорогу.

Весть о том, что «блокадные» уезжают, быстро разнеслась по Петушихе. Вдруг заявился к нам сам Терехов и с порога начал виниться:

— Ивановна, ты прости меня, за бога ради, чё так с сыном-то, с Олегом-то, плохо вышло... Кабы ране поехать в больницу, можа, жил бы... Да не мог я дать те кобылу, ты ж знаш! — Помолчал. — А хочь бы и хрен с ёй, с кобылой-то, да и со мной тож, ну не стрельнули бы... Струхнул тады я, винюсь... А вот в Новосибирск-то чё собралась? Куды ехать-то от своого хозяйства? Да и чё там, в городе, готовы каральки на берёзах растут, чё ли? Ни избы, ни еды, а тут всё своё, все свои... Оставайсь ты в колхозе, не хош вступать, будь единоличницей... Семь лет вместе всё ж...

Мама слушала Терехова с обидой, опустив глаза, не отзываясь на его слова.

Терехов помолчал, постукивая черенком кнута по своей деревянной ноге, и неожиданно с грустью сказал:

— Ну чё, ясно мне: в городе всё не так... А мы чё — деревня битая, убогая... Можя, и верно ты решила, Ивановна: ничё хорошего тут-ко не увидишь и сама, и ребёнки твои... Сплошна дичь, не дай господи... Человек он ведь тож дичат, коли дичь кругом...

К концу августа пришёл вызов от Матвея Ивановича, а с ним же почтальонша принесла и письмо из Ленинградского горисполкома: нашей семье выделяли квартиру в доме на Васильевском острове. Но мама с грустью сказала:

— Боюсь я ехать в Ленинград. Папы нет, Олежека нет... Там всё напомнит мне о прошлом, я умру от разрыва сердца. А тут, в Новосибирске, родной брат... Едем в Новосибирск.

...Ох, совсем не лёгким оказался для меня этот давно ожидаемый и вроде желанный миг расставания с Петушихой!.. Нет, не радостью, а печалью и горечью вдруг наполнилось моё детское сердце в эти дни расставания. Может, тогда впервые, в свои тринадцать лет, прочувствовал и понял я святость любви к родной земле — к земле своей страны в образе дикой, глухой и убогой деревеньки в богом забытом Сибирском краю.

Я ходил по Петушихе и притаёжным местам, забредая неглубоко в тайгу, прыгал с кочки на кочку по сограм, бегал вечерами вдоль Чёрной речки, прощаясь с грустными ивами, склонившимися к воде на её берегах, и понимал — ей-богу, уже тогда понимал! — что я сросся с этой девственной и могучей сибирской природой, а вся она, Великая и Прекрасная, проросла в меня и укоренилась в каждой клеточке моего тела всеми её лесами, травами и лугами, птицами и зверьём, букашками-таракашками — навсегда...

Уходил в луга, падал в свежескошенные копны сена, закрывал глаза, вдыхал опьяняющие мою душу запахи, понимая — я буду помнить и чувствовать их всю жизнь.

Ранним утром или к вечеру выходил из избы, садился на изгородь и следил за восходом и заходом солнца, словно предчувствуя, что впереди меня ждут долгие годы жизни среди каменных нагромождений, а сама жизнь в её бешеной суете и сутолоке не оставит мне шанса видеть, как нарождается месяц и наступает полнолуние; как, причудливо сплетаясь в очаровательные картины, плывут по небу, играя меж собой, облака и тучи...

Разве можно стать настоящим человеком и жить, не зная, как красивы золотые, в ребячий рост, спелые пшеничные и ржаные поля? Как чаруют глаз голубые волны моря цветущего льна? Как таинственны молчание и тишина тайги перед грозой?.. О, небеса! Я подолгу смотрел в их беспредельную высь, хоть поутру, хоть ночью, и мне казалось, будто я соединяюсь со всем мирозданием...

И вот наступил тот день и час, когда к нашей избе подогнали подводу, мы погрузили на неё наш скудный скраб и стали прощаться с петушихинцами. Пришли и стар и млад, кроме тех, кто был в поле. Пришёл Терехов, стоял, насупившись. Пришла моя любимая учительница Мария Ивановна.

Попрощались. Мама с Иринкой уселись на подводу, а я с детворой и Марией Ивановной, чуть приотстав, шли вслед за ней.

И вот уже мы на вершине косогора, откуда я впервые увидел Петушиху почти семь лет назад. Все грустно молчали. Я стал невольно всматриваться в голубое небо, выискивая там ястребков или коршуна, но небо было чистым, только стрижи вились в стороне. И вдруг... о боже!.. далеко-далеко в стороне от Петушихи я заметил в небе точку...

— Коршун! — радостно крикнул я. — Это коршун!..

— Корш убился, чоль забыл? — виновато молвил Витька Косой.

Всё расширяя круг своего полёта, точка приближалась к нам. Да, это был коршун.

— Коршун! — снова закричал я. — Он прилетел проводить меня!..

— Чему ты так радуешься? — спросила Мария Ивановна.

Я смутился: не рассказывать же сейчас историю про мою войну с коршуном, про то, как Витька подпалил его и отправил в полёт, как коршун врезался в землю.

— Ну, это как орёл сибирский... Сильная птица... Красивая...

И будто в ответ на мои слова, коршун, высоко паривший уже над нашими головами, послал на землю дрожащую трель «тюю-хьиин, тюю-хьиин!..»

— Ну, что ж, — сказала Мария Ивановна. — Пусть будет так, как ты думаешь... Польза от коршуна, конечно, тоже есть. И сильный он, и гордый, но хищник... Не травкой питается...

И Мария Ивановна стала читать стихи.

Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг. —
В избушке мать, над сыном тужит:
«На хлеба, на, на грудь, соси,
Расти, покорствуй, крест неси».

Идут века, шумит война,
Встаёт мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней. —
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?..

— Кто написал эти стихи? — спросил я смущённо, чувствуя, что Мария Ивановна не разделяет моё восхищение коршуном.

— Александр Блок, прекрасный поэт.. Мы с вами его ещё не проходили...

На том мы и распрощались...

...Иногда думаю: каким человеком стал бы я, не будь в моей судьбе Петушихи с её простыми, естественными людьми? С её суровым растительным миром и климатом? Всегда правдивая и беспощадная тайга, окружавшая Петушиху на сотни километров, никогда не позволяла шутить и заигрывать с собой. Иногда захватывала меня в плен, но всё же выпускала живым из своих могучих объятий. Может, потому, что я любил её бессознательной мальчишеской душой, был честен и чист в своём восхищении её красотой? Несомненно одно: ничего не делая, а просто существуя в своём грозном величии, исподволь, год за годом, тайга, безусловно, влияла на мой душевный склад.

Нет, нет! Тайга не друг и не враг никому. Наивно было бы наделять её разумом и духовной силой... Вроде бы... Но ведь известно много случаев, когда злонамеренных и неосторожных в отношении к ней людей Природа убивала то молнией, то холодом, то лютым зверем...

С детства нам врезается в память что-нибудь такое, что потом остаётся в ней на всю жизнь образом Родины. Конечно, с годами этот образ расширяется, обогащается, но детские впечатления — самые острые и сильные.

Если Прекрасное есть манифестация сокровенных законов Природы, то наблюдать их действие надобно в самом раннем возрасте, когда краски ошеломляют, а запахи дурманят. Для меня таким потрясением стала Петушиха.

Здесь, в Петушихе, я впервые увидел и почувствовал Прекрасное во всей его девственности, обнажённости и очаровании, и мне казалось порой, будто я соучаствую в его творении...

Здесь научился я слушать, чувствовать, понимать и любить Природу в её великой первозданности. Моя нынешняя

чувствительная душа — роковой дар небес, который я обрёл в те детские годы...

Здесь, в Петушихе, в раннем детстве, живя в нищете, постиг я истину, что бедность — не грех, но быть бедным — тяжело и стыдно: бедность унижает.

Здесь же родилось во мне презрение к сытым скупердяям.

Здесь привык я довольствоваться малым, жить в скромности, без излишеств.

Здесь понял, что такое труд, научился работать без усталости до седьмого пота.

Здесь, в Петушихе, осознал, что если хочешь выжить — надейся только на себя; но здесь же приобрёл привычку думать и отвечать за других.

Здесь, в Петушихе, зародилась моя любовь к чтению, к знаниям, к русскому языку, к пению.

Когда я думаю сейчас о том, почему я так безумно люблю Русь и русских, то нахожу, что этим неискоренимым в моей душе чувством одарила меня Петушиха.

На свой вопрос: «Каким бы человеком я стал, не будь в моей судьбе Петушихи?» — я не имею внятного ответа, но думаю, что, вырасти я в степи или среди прозрачных берёзовых рощ, я был бы не тем, кто я есть сейчас, а каким-то иным человеком. Лучше или хуже? Не знаю. Иным.

Новосибирский вокзал: 18 октября 1948 года

Новосибирский вокзал ошеломил всех нас с первых мгновений, как только мы спустились на перрон. Но больше всего — Ирину: впервые в свои почти десять лет она видела такое большое скопление людей, несущихся с чемоданами и тюками в противоположные стороны, толкающихся, ругающихся друг на друга. Признаться, страшновато было и мне.

Мы стояли около нашего вагона и не знали, что делать. Но тут к нам подбежал человек с наголо бритой головой — это был Матвей Иванович. Они обнимались с мамой, не скрывая слёз. Потом Матвей Иванович развернул газетный свёрток и каждому из нас троих дал по надрезанной белой булке с красными шариками внутри. Ирина откусила булку, сморщилась и быстро выковыряла красные шарики на перрон.

— Это же красная икра! — воскликнул Матвей Иванович.

— Не вкусно, — наморщила нос Ирина.

— Привыкай, доченька, к городским продуктам, — сказала мама.

И тут мы увидели здание вокзала... Высоченное, огромное, раскрашенное в светло-зелёные и белые тона, оно выглядело прекрасно, потрясло меня и даже маму, но особенно опять же Ирину. Большие каменные дома она видела только на картинках школьных учебников. Наверное, в те минуты каждый из нас в душе невольно сравнил это величие с убожеством только что покинутой нами своей петушихинской избушки — низенькой, махонькой, седой от старости, с крошечными оконцами... Я почувствовал себя приниженным, придавленным этой громадой. Ирина с открытым ртом растерянно смотрела по сторонам, спотыкалась, мама еле тащила её за руку.

Но самое сильное потрясение ожидало нас внутри вокзала... Он был забит до отказа тысячами людей...

Матвей Иванович с нашим скарбом впереди, мы втроём, взявшись за руки, стали протискиваться сквозь бурлящий людской водоворот — нам надо было пересечь его, чтобы выйти к трамвайной остановке. Невероятным напором толпы меня, шедшего последним, то и дело отрывало от Иринкиной руки, я кричал, все останавливались и ждали, пока я пробьюсь к ним, в сторону зонтика, который Матвей Иванович взял на случай дождя, а теперь всякий раз поднимал и держал над людскими головами как маяк.

В воздухе висел непрекращающийся дикий ор, звуки гармошек и баянов, жалобных песен, а поверх всего невообразимого гвалта то и дело из шипящего громкогоговорителя невнятный женский голос делал различные объявления. Тогда гомон мгновенно стихал, и были слышны только гармошки, баяны и песни... Потом ор возникал таким же миготом и на той же ноте, словно и не прекращался. После привычной деревенской тишины и таёжного безмолвия творившееся вокруг ввергло нас в шок. Мама остановилась.

— У меня кружится голова, я не могу идти... — сказала она.

И вдруг невесть откуда, словно из-под земли, перед нами возникло... туловище... ног у этого туловища не было... Туловище стояло на деревянной каталке, а в руках — деревянные чурбаки, которыми оно упиралось в пол. Туловище было одето в гимнастёрку с погонями майора, грудь — в орденах и медалях. Майор молча протянул в нашу сторону военную фуражку..

— Сейчас, сейчас!.. — засуетилась мама и стала шарить в потайном кармане фуфайки, где лежали деньги. — Вот, три рубля... Мы тоже бедные, простите...

— Благодарю! — козырнуло туловище и, круто развернувшись на каталке, исчезло меж ног толпящихся.

— Это что? — испуганно спросила Ирина.

— Это, доченька, война... — с грустью молвила мама.

— Война закончилась, — растерянно возразила Ирина.

Когда мы наконец выбрались из вокзального сумасшествия и уже стояли на остановке, ожидая трамвай, мама продолжила:

— Да, доченька, мы победили... Папу убили... Олежек умер... Мы трое остались жить... Я — дистрофик, сердце большое... Жизнь искалечена... И все мы, детки мои, ещё не дома, не в Ленинграде, а в эвакуации...

— В нашем госпитале, — вступил в разговор Матвей Иванович, — есть раненые, которые по нескольким лет лежат.

И жить уже не хотят, а умереть не могут... Этого майора безноготого четыре года назад в наш госпиталь привезли... Гангрена... Ноги ему у нас ампутировали... А в него, поверите ли, молоденькая медсестричка влюбилась. Они ещё в госпитале поженились. Поверите? Весь госпиталь радовался! А один мой коллега спросил как-то: «И как она с этим «обрубком» жить будет?» Понимаете? А у них в том же году сын родился... Поверите? Не «обрубок» он, человек. Вот как жизнь поворачивается. И на вокзале этот человек не милостыню просит, а работает. Ему семью содержать надо... И те, кто кладёт в его фуражку деньги, не милостыню подают, а платят ему за пролитую кровь, за две его ноги потерянные... Понимаете?..

— Понимаем... — тихо сказала мама.

— И таких искалеченных — безногих, безруких, слепых, глухих в городе тысячи, а в Советском Союзе миллионы... Вот что наделала война, эти звери... кровожадные... — завершил свой монолог Матвей Иванович.

Я дожевывал белую булку с красной икрой, а в голове почему-то вдруг закрутились две последние строчки стихотворения, которое читала всего день назад Мария Ивановна: «Доколе матери тужить? Доколе коршуну кружить?..»



ЭПИЛОГ

Прошло шесть лет нашей жизни в Новосибирске. С улицы Нарымской мы переехали в другой конец города, на улицу Менделеева, где маме, устроившейся сразу на две работы (уборщицы и истопницы) в общежитиях авиационного завода имени Чкалова, выделили комнату в доме полубарачного типа. Прежде здесь жили пленные немецкие офицеры и разного рода «унтеры», строившие этот завод.

Да, прав был Терехов, когда, прощаясь, сказал маме: «Чё, думаешь в городе готовые каральки на берёзах растут?..» Чтобы нам прокормиться, маме приходилось с раннего утра до позднего вечера уматываться в рабочих общежитиях — мыть полы, туалеты, растаскивать в вёдрах каменный уголь из подвала по трём этажам: отопление в общежитии было печное, а печей на каждом этаже — по четыре. Домой мама приходила еле живая, со стонами падала на кровать, просила меня помять ей плечи и руки, а вскоре вставала и на-

чинала хлопотать по хозяйству. И так, как белка в колесе, день за днём, месяц за месяцем.

Жили мы по-прежнему беднее некуда. Пенсию за папу мне после шестнадцатилетия уже не платили. Потому, окончив семилетку, я поступил в строительный техникум: надо было поскорее получать специальность и помогать маме содержать семью.

У меня завелось много друзей-товарищей. Всё свободное время я занимался сразу несколькими видами спорта, пропадал на репетициях в кружках художественной самодеятельности — то вокальном, то драматическом. Словом, мне казалось, что я оставил за собой петушихинское прошлое и забыл о нём, был целиком поглощён новым образом жизни и мыслями о будущем.

И вдруг! — душевной лихорадкой навалилась и с каждым днём стала всё сильнее трепать мне сердце тоска по Петушихе. Словно там, в горестном деревенском прошлом, а не в городском настоящем и будущем было сокрыто всё моё счастье. По ночам я просыпался оттого, что во сне мне явственно слышалось утреннее пенье скворцов, щебетанье ласточек, ночное уханье филина... То — будто ржанье молодого жеребёнка — трели коршуна высоко-высоко в синем небе; то рвущие душу из холодной осенней выси прощальные клики улетающего клина журавлей... То будто бы с волшебным фонарём я ночью брёл по зарослям тайги, пробивался сквозь буйные, выше роста человеческого травы... То аромат нескошенных лугов ударял мне в лицо, то запахи парного молока, ржаного хлеба из русской печи... Во сне являться стали мне то Терехов, то «Лал-моти́-не надо» и даже кáркалки... И брат мой Олег, ещё живой, лежащий у стены на лавке... И все мне говорили одно и то же: «Ну, где же ты?..» Нет, нет — я был здоров, я не сошёл с ума, но с каждым днём всё твёрже понимал: мне надо ехать в Петушиху.

Уж так устроен, видно, человек, что иногда им может овладеть тоска даже по горьким чувствам, испытанным в бы-

лые времена... Каким бы ни было оно, наше прошлое, пусть даже самое плохое, а всё ж бывшее, особенно детские годы, да ещё в деревне — это воистину родина души человека...

Мой новый друг Гарик Кузнецов, парень спортивного склада, был лёгок на подъём. Однажды я сказал ему: «Завтра едем в Петушиху». Он согласно мотнул головой, и мы тут же принялись подсчитывать наши денежные ресурсы. Наскребли для пропитания с горем пополам дня на три. На оплату поезда от Новосибирска до Черепаново и на дорогу от Черепаново до Маслянино — ни гроша. До Черепаново решили добираться «зайцами» на товарняке, от Черепаново до Маслянино — пешим ходом с привалами, а может, и с ночёвкой в каком-нибудь селе: 90 километров — не шутка. От Маслянино до Петушихи — бегом: оба стайеры, тридцать километров одолеть часа за три — как делать нечего.

Поездка в Петушиху чуть не стоила мне жизни... Не успев разобраться толком в расписании движения поездов, мы наугад вскочили на площадку одного из вагонов в хвосте отходившего от вокзала товарняка, не подозревая, что эшелон перевозил военные изделия и его сопровождала охрана. Война была давно позади, но «оборонка» Новосибирска по-прежнему гнала свою продукцию на полную катушку... Как случилось, что охранники не заметили нас сразу?..

И только когда эшелон подходил к Черепаново, и я высунулся, чтоб оглядеться, тут же услышал окрик: «Стой!» и сразу: «Стой! Стрелять буду!» Охранник выстрелил в воздух, взобрался на крышу вагона и побежал в нашу сторону. Поезд нёсся с большой скоростью, но, ошав от страха, я спрыгнул на насыпь, кубарем скатился под откос и замер лёжа. С крыши прогремели ещё несколько выстрелов — не понарошку. Я с ужасом понял это, когда валявшаяся рядом со мной коряга вздрогнула и от неё в разные стороны полетели щепки. Но через несколько секунд эшелон был уже далеко...

А Гарик, выждав, когда охрана успокоится, а поезд перед станцией пойдет медленнее, прыгнул так аккуратно, что охранники его и не заметили...

С грехом пополам где пёхом, где бегом, где на попутной машине, где на случайной подводе мы добрались до Маслянино. Передохнули, перекусили и припустили трусцой в Петушиху...

Мы вошли в деревню, когда она уже спала, и только в редких окнах мерцал тусклый свет, сказавший мне, что в Петушихе электричества как не было, так и нет.

Я кинулся к нашей избе и, будто слепой, с нежностью и неизъяснимой тревогой ощупал в темноте её стены, разбитые стёкла окон, запертые на замок двери, прислонился щекой к необъятному кедру, пахнүвшему на меня смолой и хвоей... И мы пошли проситься на ночёвку к Нопиным. К кому ж ещё?..

Даже не поинтересовавшись, кто пришёл, двери нам открыл дядя Володя, Илюшин отец. В полутьме берёзово-лучинного света он сразу узнал меня, усадил нас с Гариком за стол, достал еду — хлеб, картошку, молоко — всё делал молча, как будто мы расстались вчера, а не шесть лет назад.

— Ешьте, — молвил он одно слово. И уставился на нас добрым взглядом.

— Как живёте-то, дядя Володя? — спросил я растерянно.

— Дак живой покаместь... А некоиx уж и нету, а кабыть ровней были... Побалакать бы, дак с кем? На моей жизни ничё не изменилось. Постарел вот напрочь. Года большие стали, силы-то нету. Руки не держат хоть молоток, хоть клещи... А кузнец колхозу важен... Кто коню подкову поставит?... Стану вспоминать про себя, всё кони, да подковы... И во сне всё они — кони да подковы... Илюха в город Тюмень уехал. Нюрка замуж вышла, в Дресвянке живут. Жена моя Люба и вовсе ушла... Сголку умерла. Вечере ходила, по утру холодно. Сердце у ей, сказали, надорвалось. Один таперича я.

Дядя Володя помолчал, задумавшись, вздохнул.

— Прошлогод урожай был ничё, хорош... Ноне ягоды много... А сёдня болею, поясница ноет, как быдто чёрна собака живёт там.

Дядя Володя опять задумался.

— Чё ишшо говорить?.. Вот три дни тому назад поднялась така погода! Ставни-то говорком заговорили... Ляжу. Чё тако? Посуда в шкапу тож говорком говорит, курицы в курятнике закутакали... Ну, думаю, землетрясения... А эт гром собирался. Ка-ак грохнет! А молынья ка-ак полыхнёт!.. Конец свету прямо...

Дядя Володя и в самом деле выглядел плохо, был явно не в себе. И всё ж любопытство моё было бесстыдно-неугомонным.

— А Мария Ивановна, учительница...

— А чё Марь Иванна, на повышенье забрали, в район... Друга таперь училка, имени не помню...

— А председатель Терехов?..

— А чё Терехов? Молодцом!.. С бабами да стариками колхоз передовым сделал. Таперя в колхозе три трактора — два бабы водят, а один взамен на ремонте в Елбани. Конбайны опять же есть. Сами ходют. Сельпо таперича у нас — лучше нету. Сам сходи, погляди. И те еда, и одёжа разна. Телефон председателю, электрически столбы поставили, скоро свет будет. Врачица появилась... Ко мне тож ходит. В клубе баянист... А Терехова другой колхоз подымать забрали. Новый председатель у нас, вредный... А молодняк из колхоза беёт... Твоей ровни, подикась, никого нету...

Спать нас дядя Володя уложил на сеновале.

Гарик тут же захрапел, а я так и не сомкнул глаз всю ночь, перебирал в своей памяти день за днём, прожитые в Петушихе, и вот странное дело! — находил, что самыми дорогими моему сердцу остались не радостные часы, а те муки и страдания, которые мы пережили в этой деревне, всё то, что мне далось с трудом... Подумал вдруг, быть может, впервые

и всерьёз, о людях, в окружении которых семья наша жила почти семь лет. Простые, совсем простые люди.

Вот тот же дядя Володя, обыкновенный кузнец, но ремесло своё любит и знает прекрасно. Добрый и участливый человек, без зависти и злобы в отношении других. И таких в Петушихе, надо думать, было большинство. Всем образом жизни своей они учили меня спасительным для мира качествам — трудолюбию, доброте, совести. Хотя сами нередко были несчастны, как дети, обойдённые вниманием и лаской...

Как только забрезжил рассвет, я тихо, чтоб не разбудить Гарика, соскользнул по лестнице с сеновала и бросился осматривать Петушиху.

Да, из леса к околице, мимо нашей избушки и вдоль деревни, не замеченные мною в темноте, стояли электрические столбы с уже натянутыми проводами... Но в остальном Петушиха выглядела по-старому. Как и шесть лет назад, в противоположном конце деревни пастух уже собирал коров в стадо, и там стоял столб пыли, который, я знал, как и шесть лет назад, скоро ляжет по дороге вдоль всей Петушихи, и невозможно будет увидеть избы по её другую сторону..

Побежал на деревенское кладбище. Там царили мир и покой. Лёгкий утренний ветерок слегка колыхал верхушки березняка, шевелил траву. Порхали бабочки. Пели птицы. Белели вдаль три новых креста. Я искал Олегову могилу, место которой, казалось, мог указать с закрытыми глазами, и не находил. Наконец, отыскал... Она сровнялась с землёй и заросла травой. Сломанный крест валялся в траве далеко в стороне от могилы, рядом с ним лежал белый собачий череп... Мне стало стыдно и страшно. Я кинулся к дяде Володе, разбудил его, попросил лопату, топор, пилу, молоток, гвозди.

— Я знаю, как делать, нас в техникуме столярному делу учили...

— Э-э, паря! Да один-то ты цельный день проколупашся. Буди дружка свою, поутренничаем да и станем рóбить...

Полдня дядя Володя, я и Гарик приводили Олегову могилу в порядок: вырвали траву, насыпали надгробье, изготовили оградку и новый крест, на котором я вырезал финкой: «Ломов Олег Григорьевич. 1927—1947 гг.» Ни дня рождения, ни точного дня смерти моего брата я, увы, не помнил...

Уже вечерело, когда мы с Гариком заглянули в сельпо. В лавке не было никого. Положив голову на прилавок, продавщица отчаянно спала. Очнулась она только после третьего «здравствуйте!» Потянулась со вкусом, не вставая, равнодушно протянула:

— Ну, чё надо?

Мы ответили не сразу, огляделись. В лавке роем летали мухи, рядом с продавщицей по подоконнику бегал жёлтенький цыплёночек, ловил и глотал этих мух без счёту. Крепко пахло домашним мылом, селёдкой, махоркой и керосином. Полки лавки были уставлены консервными банками и бутылками водки.

— Почём? — спросил я.

— Чё почём?

— Водка.

— Чё, читать не умеш?..

Я купил в подарок дяде Володе бутылку «Московской» и две селёдки.

Продавщица, деваха лет семнадцати, круглолицая, в конопушках, вдруг широко заулыбалась.

— А вы откуль, парни?

— А мы «оттуль», — съязвил я. — Из Новосибирска мы. — А вот ты откуля тут-ко?

— Я-то? Да я-то тутошняя.

И вдруг я опознал её:

— Да ты же Дашка Пономарёва, точно?

— А ты... слышь, ты ж «блокадный», да? Игорь! Ах ты!..

Дашка с визгом выскочила из-за прилавка и принялась обнимать напропалую то меня, то Гарика, а была она грудастая, фигуристая, тёплая, как парное молоко...

У колхозного правления нас ожидала уже полуторка, шедшая в Маслянино. Шофёр нетерпеливо сигналил. И мы кинулись к машине.

Притормозили у дома Нопиных, отдали дяде Володе наш подарок, затем остановились на мгновение у нашей избы. Я забежал во двор, подошёл к дверям нашего дома, поцеловал его порог и поклялся в душе, что скоро снова приеду сюда, на родину моей души. И мы помчались. Из кузова грузовика я вдруг увидел, что на прогнившей крыше нашего дома лежат горы шишек, которые ронял мой любимый кедр, но их никто почему-то не собирал...

Покидал Петушиху я со смешанными чувствами: сожалел о том, что побывал не всюду, где мечтал, ни с кем из бывших дружков не повидался; и — с чувством радости от того, что дикая таёжная деревня оживает, встаёт на ноги... Всего-то десять лет как закончилась война, ещё в руинах лежали немало городов и сёл, заводов, фабрик. До Петушихи ли стране? Здесь все дома целы, а люди худо-бедно одеты, обуты и сыты. В пору жизни в Петушихе семья наша почитала эту деревеньку глухим, забытым богом, но всё же райским уголком земли... А тут на тебе — ещё и электричество, и телефон, и врач, и даже баянист. «Нет, что ни говори, — думал я, — а далеко видит глаз Москвы...» Вспомнился мне офицер на белом коне, прискакавший в Петушиху на защиту эвакуированной семьи, вызов в Суворовское училище... Случайности?..

И уже подумал, что в следующий раз мы приедем в Петушиху всей семьёй и надолго, поправим нашу избышку и проживём здесь месяц, а то и всё лето...

Это было в середине августа 1955 года.

С тех пор я в Петушихе никогда не бывал...

Не вышло.

Окончил строительный техникум — и в армию, на учёбу в Омское танковое техническое училище. Демобилизовался. Работал на стройке слесарем, мастером. Затем в комсомоле — секретарём комитета на той же стройке «почтовый ящик» № 53, первым секретарём Дзержинского райкома, на оборонном заводе «почтовый ящик» № 23 — начальником цеха. Здесь же, в Новосибирске, по уши влюбленный, женился. Родился сын. Семейные заботы. Потом — вызов в Москву: Центральный комитет комсомола; журналистика; учёба в Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР; научная деятельность — директор Научно-исследовательского центра, а с 1994 года ректор Института молодёжи (бывшей Высшей комсомольской школы), ныне — Московского гуманитарного университета... И все годы, вся жизнь — как в угаре, в бешеной суете освоения новых сфер деятельности, новых обязанностей, в сумасшедшей круговерти событий то «перестройки», то «реформ»...

А годы летели...

18 августа 1987 года в возрасте почти 84 лет умерла в Новосибирске моя мама; умерла в квартире Ирины, хотя была у неё мною добытая и своя собственная, где она долгие годы прожила в одиночестве. Часто навещали её, жили с ней дети Ирины — внучка Лариса, внук Юра и правнучка Юля. Я же виделся с мамой редко, наездами... Деньги, разговоры по телефону — не в счёт... И в том моя неискупимая вина, мой тяжкий грех...

Ирина так и живёт в Новосибирске с внуками-правнуками...

А я всё работаю — руковожу, пишу статьи и книги, иногда — стихи...

В 2005 году взялся написать историю нашего рода. Как можно было тут обойти годы жизни в Петушихе? «Надо бы съездить!» — подумал. Тут же стал искать мою деревеньку по Интернету. И нашёл! «Боже, она жива! Она есть даже во Всемирной паутине, моя Петушиха!» — радовался я.

Напрасно... Когда связался с руководством Маслянинского района, чтоб помогли организовать мою поездку, узнал: уж несколько лет, как не существует больше такой деревни — Петушихи, и многих других сёл в её округе тоже нет. Просто районную карту ещё не исправили. Вот и соврал Интернет...

Защемило сердце, страшный обвал случился в чувствительной душе моей от этой новости. «Как так? Зачем? Почему?..» — бунтовала память. Прагматичный рассудок отвечал: «Что ж тут странного? Так — по всей России: сорок тысяч сёл, больших, ухоженных (не чета затерянной в сибирской тайге Петушихе!) исчезли с карты России в новом, XXI веке, а с начала «реформ» — вдвое больше. И это ещё не конец! А как иначе? Рынок. ВТО. Импорт. Конкуренция!.. Молодых сманили огни и деньги больших городов, а старики... Что — старики? Поохали, поматерились да и упокоились навсегда... Трудное, маловыгодное это дело — русская, да ещё сибирская деревня!.. А где нет выгоды, интереса, там нет и памяти. Вот так вот нонеча, паря!.. Забудь свою патриархальную Петушиху!..»

Забудь?! Не могу, не хочу..

...Память... Быть может, она и есть то самое дорогое, что более всего ценится людьми.

Что — жизнь? Мгновение бесконечности. Сохраните память о человеке, и он, уйдя из жизни, не потеряет почти ничего: мёртвые живы, пока они живут в наших душах. В душах отдельных малоразумеющих, но добрых и памятливых людей. В подсознательных глубинах сверхличной народной души.

Что обещаем мы человеку у гроба? Вечную память. Хотя знаем давно: память — самый бранный из памятников. Ложь во благо?.. Пожалуй.

Чему удивляться-то? Одно из главных свойств человеческой памяти — забывать; хотя забывание это избирательно: в памяти остаётся то, что нужно, полезно человеку «сей-

час», в настоящий момент, что «со-временно» и помогает жить. Улетучиваются прежде всего страхи и ужасы, всё неприятное, пережитое в прошлом.

Всё на свете (рано или поздно) становится жертвой забвения. Время — этот немой и безжалостный тиран — давно показало всем мечтателям о «вечной памяти», что даже самая долгая посмертная слава воистину великих личностей держится лишь в нескольких поколениях, мало-помалу рассеиваясь и исчезая в пространстве мироздания и длиннотах Времени. Нет вечности ни в каменных пирамидах, ни в бронзовых монументах, ни в мраморных и золотых гробницах, ни в гранитных статуях.

Но всё же главное свойство человеческой памяти — запоминание, а не забвение. Да, Время — призрачно; да, Время — это парадокс. Да, Время распадается на мыслимые человеком абстракции — Прошлое, Настоящее и Будущее. Но Прошлого уже нет, Будущего ещё нет, а Настоящее (миг!) на наших глазах разделяется на Прошлое и Будущее. И это мгновение, этот миг неуловимы!.. Так выглядит распадающаяся Вечность.

Отдельному человеку позволительно забыть и не помнить всё что угодно: не только ужасное и неприятное, но радость и наслаждение; не только неприятелей и врагов, но товарищей, друзей и даже родных. Оглянемся вокруг и увидим: таких людей — толпы. Эгоисты. Циники. Равнодушные.

Призрачность Времени возникает там, где нет позитивных изменений в жизни общества, где человек или общество бездействуют, суетятся бесполезно без высокой идеи и желанной цели. Такие периоды именуют «безвременьем». Вот нынешняя действительность, особенно ельцинская эпоха... Спорь не спорь, а это — безвременье: не то чтобы вперёд двинуться, в начало 90-х годов вернуться не можем...

Но разве можно назвать безвременьем советские годы, даже те, о которых я пишу? При всём старании у желающего

доказать это ничего не выйдет. Эпоха советской власти (при всех оговорках) — это Время великих свершений. Конечно, и страданий, и мучений, и голода, и холода, и огромных жертв. Но в итоге — великие достижения. Победа в Великой Отечественной войне — одно из них, и самое великое.

Лучший путь к развитию — путь испытаний и лишений. Для меня теперь это — аксиома...

В наши дни, когда зло господствует в жизни, а добро унижено и втоптанно в грязь, когда вырождается нравственность и люди в отчаянии погружаются в сатанинские глубины; когда мало кто слышит стоны страждущих, я всё чаще вспоминаю блокадный Ленинград, мытарства и страдания моей мамы, деревню Петушиху с природной простотой её быта, всё сильнее чувствую органическую связь моей души с суровой и святой правдой жизни тех лет. И понимаю, что жертвой, которую принесли блокада и битва за Ленинград, деревенька Петушиха вместе с тысячами им подобных городов и сёл в годы войны, искуплено не только прошлое, но и сегодняшнее зло жизни.

Да, мы в рабстве у Времени и Смерти. Да, ныне в мире торжествуют самодовольство, сытость, власть и деньги. И нет никаких признаков, что бедность и страдание в России и на планете с годами уменьшаются. Но если мы отречёмся от нашей обязанности помнить о людях, которым обязаны жизнью, о немыслимых жертвах, принесённых нашим народом на алтарь Великой Победы над чумой гитлеровского фашизма (что значит в конечном счёте отказ от мысли о победе Добра над злом), то Жизнь потеряет всякий смысл.

Память осуществляет связь времён — Прошлого, Настоящего и Будущего. Память историческая — уже не личное дело; это богатство и забота общества, государства, народа, нации. Наконец — это обязанность гражданина, принадлежащего к этим социальным институтам и образованиям.

Вспомнить можно лишь то, что знал, что пережил. Я помню всё прожитое мною вместе со страной — хорошее

и плохое, радостное и печальное, ни от чего не отрекаясь.

В памяти моей есть маленькое кладбище, где погребены те, кто уже ушёл в мир иной и кто ещё пребудет там, пока я жив. На этом кладбище внутри моего «я» есть место главным среди всех — маме моей Аделии Ивановне и отцу Михаилу Фёдоровичу. А рядом с ними — мои деды и прадеды, мои предки, о ком мне довелось узнать. Здесь и друзья-товарищи, утраченные мною.

Когда мне тошно жить, я вспоминаю всё пережитое и всех, кому обязан жизнью, дружбой. Мне необходимо слышать их. Я вопрошаю. Они молчат. Молчит и Прошлое. Тогда я вдумываюсь в смысл, внимаю беззвучию их таинственного молчания. И мнится мне, и чудится, будто слышу: «Живи, живи!.. Но — помни!..» И понимаю нечто, ранее неведомое. И на душе становится легче.

Вот так и живу.

Живу и помню.

Примечания

С. 18

Наша «очаговая» группа — «очагом» в блокадном Ленинграде называли круглосуточный детский сад-интернат.

С. 23

В августе 1941 года Таню эвакуировали в Горьковскую (ныне Нижегородскую) область в посёлок Шатки, где в июле 1944 года она умерла от блокадных болезней. В те годы Танин дневничок потряс множество сердец во всём мире. После смерти Тани в этом рабочем посёлке ей поставили памятник. Цел ли он сегодня?..

С. 24

Ленинград не вымер и потому... — в 1989 году Ленгорсовет учредил знак «Жителю блокадного Ленинграда». Им награждались те, кто находился в блокаде не менее четырёх месяцев с её начала 8 сентября 1942 года до полного снятия 27 января 1944 года. В 2008 году Государственная Дума России приняла закон, согласно которому награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны, им вручается такое удостоверение.

Данные об эвакуации из Ленинграда — источник: Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / под ред. Н. Л. Волковского. М. : АСТ ; СПб. : Полигон, 2005. С. 766 ; ЦАМО (Центральный архив Министерства обороны РФ) Ф. 217. Оп. 1258. Д. 94. Л. 27–33. Подлинник. Об эвакуации из Ленинграда с 29 июня 1941 г. по 15 апреля 1942 г. Отчёт городской эвакуационной комиссии. 26 апреля 1942 г.

С. 25

...«нежелание жителей эвакуироваться из Ленинграда» — источник: ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1258. Д. 94. Л. 27–33. Подлинник.

С. 26

А недавно в руки мне попал журнал «Огонёк» — Огонек. 2011. 19 мая. № 18.

С. 27

«У меня жена...<...> котлеты делал»... 15 ноября мать убила полуторамесячную дочь, чтобы накормить других своих детей. — Источник: Лурье Л., Маляров Л. Ленинградский фронт. СПб., 2012. С. 155, 150.

...из докладной записки военного прокурора г. Ленинграда А. И. Панфиленко — источник: ЦГАИПД СПб (Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга) Ф. 24. Оп. 20. Д. 1319. Л. 38–46. Подлинник.

С. 28

Теперь известно... — источник данных: Буров А. В. Блокада: день за днем. 22 июня 1941 г. — 27 янв. 1944 г. Л. : Лениздат, 1979. С. 68.

С. 29–30

Вот одно из таких спецсообщений из Дела № 10 № 9746 от 6 ноября 1941 года... — источник: Лурье Л., Маляров Л. Указ. соч. С. 164.

Текст листовки — источник: Лурье Л., Маляров Л. Указ. соч. С. 50.

С. 31

Одна из таких групп называлась ЗИГ-ЗАГ... — источник: Лурье Л., Маляров Л. Указ. соч. С. 167.

С. 32–33

Источник данных: ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2–6.
Д. 1323. Л. 83–85. Подлинник.

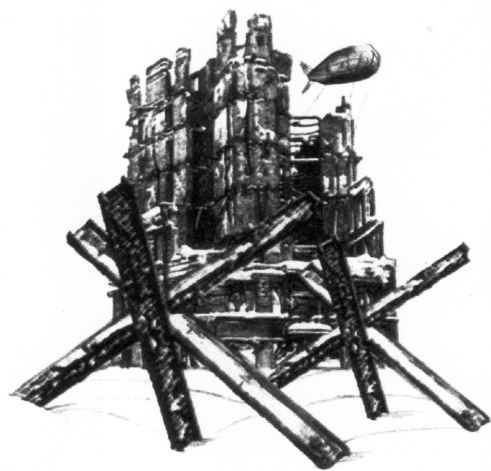
С. 34

«Немецкие войска вышли к Ладожскому озеру... третьего пути у вас нет» — источник: Карпов В. В. Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира. Кн. 1 // Роман-газета. 1991.

С. 35

Текст приказа дан по кн.: Карпов В. В. Указ. соч. С. 147.

СТИХОТВОРЕНИЯ



Про войну

Чтобы взять винтовку,
Был я слишком мал,
Что война — воровка,
Я не понимал.

Что война-уродка
Крошкой свинца
Первым в нашем роде
Украдёт отца,

Я тогда не ведал...
И не знал того,
Что седая ведьма
Брата моего

Унесёт в могилу
Следом за отцом.
Вспоминать нет силы
Мамино лицо...

В мёрзлом Ленинграде
Ела лебеду,
Выжила в блокаде,
Одолев беду.

Стала вся седая —
Трое на руках...
Как смогла, не знаю,
Вырастила птах...

Был тогда я кроха.
Что я сделать мог?
Слушать пушек грохот,
Жуткий вой «тревог»,

Плакать и пугаться...
Ныл да есть просил...
Был я ленинградцем,
Я в блокаде жил.

Не убит, не ранен,
Но болит во мне,
Ноет беспрестанно
Память о войне.

Дали б мне винтовку —
Хоть и мал я был —
Я б войну-воровку
Всё равно убил.

11 апреля 2010 года

Блокада

Было ль это — не верю порою:
Сорок первый; в осаде город...
Нет воды, нет тепла, нет покоя;
Ленинград пожирает Голод.

Полумёртвые люди, не плача,
Мертвецов волокут в простынях...
Вот упал человек... Это значит —
Он испил свою чашу до дна...

Вот бегу я, бегу от снарядов
И никак убежать не могу..
А разрывы всё ближе... рядом...
Вот дружок мой на алом снегу...

Вдруг услышится гул — «мессершмитты»...
Иль увидится — как наяву —
Мой отец на войне не убитый,
Мы купаться идём на Неву..

Память — Страх, ты оставь мою душу! —
Память — Ужас, изыди как боль!..
Я в строю, я солдат, я не трушу..
Но — зачем каждый день новый бой?..

...Как и все, в День Победы — я рад ей!
Но поверх моей радости — грусть:
Я не вырвусь никак из блокады,
Я с войны всё никак не вернусь...

26 июля 2013 года

Школа моя

Школа моя деревянная...
Флаг над крыльцом в вышине,
В окнах — герани багряные,
Сталин на главной стене.

Печка при входе горящая,
Свет от неё — на весь класс.
В сумраке света горячечном —
Двадцать пылающих глаз.

Здесь, средь глухой деревенщины,
Был каждый день, словно взрыв:
Мудрая русская женщина
Нам открывала миры...

Школа моя деревянная,
Как я тебя обожал,
Если в пургу окаянную
Я к тебе бóсым бежал —

С криками, стонами, падая —
Нету обуви в семье...
Школа моя, благодарен я
Этой суровой судьбе.

7 января 2011 года

Сон

Я часто вижу по ночам
Сон многократно пережитый:
Из прошлого ко мне примчал
Отец мой, на войне убитый...

Из боя прямо, на коне,
Пропахший гарью и бедою.
И вот стоим мы в этом сне —
Я и семья моя со мною.

В глазах от счастья меркнет свет,
Но что ж мне — плакать иль смеяться?
Я стар и сед. Уже я дед.
А моему отцу — за двадцать...

И внук отцу, мой сын, стоит,
И золото погон искрится...
Отец мой внуку говорит:
«Позвольте к сыну обратиться!..»

А я не знаю, что сказать,
А рядом тихо мать рыдает.
И пес наш рвётся цепь порвать,
И на солдата громко лает.

С деревьев ветер листья рвёт,
На них знакомый профиль — Сталин,
И все на грудь отца кладет,
Как запоздалые медали...

1984 год

Зимой

День был худой и хлипкий. Моросило.
Сквозь тучи наземь падал мелкий снег,
И ко́лким бисером его сносило
Холодным ветром вкось и в беспросвет.

Висели тучи на верхушках елей.
День угасал, и наступала ночь.
Я выбился из сил и плёлся еле,
А воз мой вяз, и сделать шаг — невмочь.

А ночь упала разом, словно беркут,
Накрыла мраком лес, хоть глаз коли.
Трещали от мороза сосны, кедры,
И волчий вой мне чудился вдали.

Я брёл, в снегу по пояс утопая,
Один среди беспрóлазной тайги...
Я сено вёз, от ужаса базла́я
То песни, то мужичьи матюги.

А в перелесках будто бы светало,
Но ветер бил, и ухали сычи...
Я падал и лежал, и мне казалось,
Что засыпаю... дома... на печи...

«Вставай! Иди!» — я бормотал в дремоте.
О, как же тяжело вернуться в жизнь,
Когда нет сил и голоден до рвоты...
Но я взывал: «Не падай! Не ложись!»

Вставал и шёл, по нюху, по наитью
Определял движение своё.
И сена воз — победное событие! —
Мы отмечали плачем всей семьёй.

...Я был юнец — двенадцать лет отроду,
Один мужик у мамы и сестры.
И каждый день, погода — непогода,
Кормил скотину, разводил костры,

Колол дрова, работал в огороде...
Я делал всё как взрослый, как большой.
Так жили мы. Война — для всех невзгода,
Одна беда и горе за душой.

4 января 2011 года

Тайга

Тайга... Таинственное слово —
Как космос, море, океан.
Закрыв глаза — и вот я снова
В плену тайги, я снова там,

Где сосны в небеса убíлись,
Где травы в человечий рост,
Где глушь и темь, урмáны, дикость.
Здесь в детстве я и жил, и рос.

Здесь тóрной не найдёшь дороги —
Болота, сóгры, бурьяны.
Ушёл в тайгу — не жди подмоги:
Лишь солнца луч иль свет луны.

А я таёжничал мальчишкой —
Зимой в мороз и в летний зной.
Встречался носом к носу с «мишкой»
И слышал рядом волчий вой.

Топор — за пояс, лук — за плечи.
Колчан и стрелы за спиной.
Да страх. Да храброе сердечко.
Таков портрет тогдашний мой.

Свет еле пробивал вершины...
В скрадкé стаившись, на заре
Я бил стрелою камышиной
Затоковавших глухарей.

Случалось, пропадал в ущельях,
Не раз в урочищах блуждал,
И яркий месяц на ущербе
Мне путь к спасенью освещал.

Когда по ночи тихохладной
Луна скрывалась в облака,
Шатаясь, шёл домой обратно,
И ноша не была легка.

Я брёл во тьме, то молча плача,
То подвывая, словно волк...
Я был малец, но жить иначе
По тамошней поре не мог.

Была война — будь трижды клята,
И снова проклята вдвойне!
Я признавал себя солдатом
На распроклятой той войне.

Не знал про детские капризы,
Ясна была судьба моя:
Отец на фронте — за Отчизну,
Моё Отечество — семья.

Тайга жестокостью учила.
Здесь в ум вошёл я. И тогда
Я разгадал Твоё величье,
И полюбил Тебя, Тайга.

И чудится порой мне — слышу,
Как за окном ревёт пурга.
За то, что человеком вышел,
Земной поклон тебе, Тайга!

12 декабря 2010 года

* * *

Мирно село просыпается,
Лісья ушла темнота.
День трудовой начинается,
Будни, сует-суета...

Вот выхожу на крылечко я,
Тут же умолк птичий ор —
Это — моя «филармония»,
Это — мой сказочный хор.

Я запевал вальсы венские,
Песни про нашу войну..
Птахи мои деревенские,
Я не забыл ни одну.

Птицы — как странники божии,
Всех их, бродяжек, любил.
Может, мы чем-то похожие,
Коль я с руки их кормил?

Отчий дом

Здесь храм стоял на берегу крутом,
Изба в три связи — Отчий дом.
Но налетели гады-годы,
И вот на том же месте — холм...

А в храме том золотоглавом
Служили прадед мой и дед —
Не ради почестей и славы,
А против зла и против бед.

А в той избе, что рядом с храмом,
А в той избе на шесть окон
Звенел годами детский гомон
И свет струился от икон.

И рано поутру, и к ночи,
Челом касаясь половиц,
Молилась Женщина: «Наш Отче!..
Наставь!.. Спаси!.. Благослови!..»

Не спас. Пришли враги и беды.
Сожгли село и храм, наш дом.
А вскоре грянула Победа...
Где храм стоял, там нынче холм.

Следа не сыщешь даже свыше...
Рыдаю: «Здравствуй, Отчий дом!»
В ответ лишь эхо.
Ветер свищет.
Да холм...
Да думы о былом...

Октябрь 2008 года

«Матаня»

Это быль, а не театр...
День угас, а месяц ввысь.
На краю села девчата
На «матаню» собрались.

Все как есть — красавицы,
На кого ни погляди.
Некому понравиться —
Ванечка на всех один.

Распрекрасный гармонист,
На груди тальяночка,
Голосист и сердцем чист
Раскрасавец Ванечка.

Гармонист рулады льёт,
Кудрями у клавишей,
Сам — едва семнадцать лет —
На войну направившись.

Средь девчат переполох,
Вся в слезах «матанечка»:
«Ты же нас застал врасплох,
Ты ж последний, Ванечка!..»

Встали дрóленьки кружком,
Закружили Ванечку,
Топотком да топотком
Завели «матанечку».

«Красную косыночку
Брошу на тальяночку,
Её ветер не снесёт,
Мой матаня меня ждёт!»

«Ты, товарка, не трунди,
Все давно балакают —
Твой милёнок ерундит,
Ажно утки крикают!»

«Ты, подружка-верница,
Нынче стала сплетница,
Эту весточку взяла,
Думаш, с милым развела?»

«Ваня Маньку полюбил,
Покатал на лошади.
Про всё прошлое забыл
Ради рыжей брошенки!»

«Ты, Ванюша, заводнющий —
Разогрей в Марусе кровь.
Подхвати гармонь получче,
Вжарь про новую любовь!»

«Ты, Ванюша, дорогой,
Шибко разневестился.
Колокольчик под дугой,
Был Серко́ — изъездился!»

«Ты, баляня, не старуха,
Чё ты ходишь с бато́гом?
Полюбила я Ванюху
И забегала бегом!»

«Я надену серьги в уши,
А на шею бисера.
Он не твой, а мой — Ванюша,
Сам мне сказывал вчера».

«Ветер бухал, с ног валил...
Меня Ваня полюбил!
Без бутылки, без дуды
Ноги ходют не туды...»

«Бо́ля выпей, бо́ля выпей,
А потом ещё налей.
Сперва руки с мылом вымой,
Уж потом меня жале́й!..»

«Ты, товарка, не урчи —
Что от песни толку-то?
Ягоди́нка наш молчит,
А сердечко то́кает!»

«Ты, Ванюш, не задавайсь —
Всё пройдёт порошею.
Повоюй, домой вертайсь —
Выберешь хорошую!..»

Ванечка мехами рвёт —
«Прощевай, тальяночка!»
А «матанечка» ревёт —
Провожает Ванечку.

...Был Ванюша храбр и смел,
Воевал отчаянно,
Две медали заимел.
Об одном печалился:

Как «матаня» без него,
Девуцы-красавицы?
Вдруг заявится другой?
Вдруг он им понравится?..

На чужой реке Вислё
Был убитый Ванечка.
Нет гармошки на селе.
Нету и «матанечки».

3 января 2011 года

* * *

О чём грущу я в День Победы,
Себя за слабость не кляня?..
В тот день, как в океан, все беды
Ручьями плачутся в меня.

* * *

Без клятв, но с верою
Отправимся в дорогу,
Без слёз, но с нежностью
Покинем Отчий дом...

Всего лишь шаг один
С родимого порога —
И мы с тобой
Уже на Берегу другом...

* * *

Чужого горя не бывает —
Мир неделим.
Одно нас небо укрывает,
Когда мы спим,
Когда работаем, мечтаем,
Когда грустим,
Когда однажды понимаем —
Мир неделим.
Мир беззащитен и прекрасен,
Как детский смех...
Бедя приходит вдруг и сразу
Одна на всех...

* * *

Да, я в челне.
Меня вода не тронет.
Как быть счастливым мне,
Когда народ мой тонет?

Мамина слеза

В моём саду печаль и снег...
Таких метелей не бывало сроду —
Кусты запуржены поверх,
Растерянно глядят из-под сугробов.

Метель метёт и день и ночь.
Я заперт в доме холодом и ветром.
Но мысль меня уносит прочь —
Назад, в былую даль и безответность.

Хочу спросить, кто был мой дед,
Каких кровей я и какого рода —
Молчанье... Никого уж нет.
И сам я у последнего порога.

Давно ли мать была жива...
Поговорить бы... Нет, как бес носился!..
Спросить бы: «Мама, как жила?»
Хотел, хотел спросить,
да не спросилось.

Да, этот снег — её слеза.
Оттуда, из небесного далёко
Мне душу жгут её глаза,
Её глаза — два горя одиноких...

Март 2006 года

Пристань моя деревенская

Там, где леса вековечные,
Там, где поля, как моря,
Там, где тайга бесконечная,
Там — деревенька моя.

Избы щепо́ю покрытые...
Горницы в половиках...
Окна, слюдою залитые...
Изгородь из тальника...

Пихты до неба, луга в цветах...
Домик у самой реки...
Где-то мой брат на погосте там...
В небе висят ястребки...

Нет колеи за́ сто вёрст округ...
Беды грядут чередой...
Коли нужда навалилась вдруг,
Так и живи с той нуждой.

Вьюги, морозы крещенские...
Запах овчинный избы...
Пристань моя деревенская,
Я ничего не забыл.

«Мы»

Из тысяч слов безмолвной кутерьмы
Я поднимаю лишь одно — как Знамя!
И возвращаю смыслы слову «Мы»,
И восславляю сделанное — «Нами»...

«Мы — не рабы! — воззвали к миру Мы. —
Не чернь Мы! Не плебеи! И не было!»
И вспыхнули кровавые дымы...
И был исход — для Нас победный был он.

Мы — ввысь рвались! Мы — рвали постропки!
Мы — время погоняли как савраску!..

Летели годы наперегонки,
И Нам была История подвластна.

Мы — не стояли за ценой! И Мы —
Мы ши хлебать лаптями перестали!
Мы — в сталь страну одели! Мы — из тьмы
Как сфинкс, к вершинам Разума восстали.

Мы — Псу срубили голову! И Мы —
Мы одержали горькую Победу..
Мы — мир спасли от вековой тюрьмы,
Без меры горя и беды изведав.

Мы — строили заводы, города,
Мы — строили великую Державу!..
Ах, как же обманулись Мы тогда...
Ах, как страну профукали бесславно...

И вот на поле брани и труда
Пришли манкурты, киборги, мутанты —
Жирующее племя, «господа»...
А «Мы» — опять с сумой иль в арестантах.

Исчезло «Мы», как утренний туман,
Исчезла «Мы — страна», есть Русь-калека.
И правит ею Мытарь — бандюган,
А «Мы» с тобой — сиди, не кукарекай.

Но верю я — очнётся от чумы,
Воспрянет Богатырь... И будет жарко!..
Мильоны «Я» сольются снова в «Мы».
И поведут нас Минин и Пожарский...

26 июня 2011 года, д. Фёдоровка

Об авторе

Игорь Михайлович Ильинский — ректор Московского гуманитарного университета, доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор, действительный член Международной академии наук, Российской академии естественных наук, Академии военных наук, Академии российской словесности и ряда других академий и научных ассоциаций. Член Союза писателей России.

Родился в Ленинграде и пережил блокаду, в июле 1942 г. с семьей был эвакуирован в деревню Петушиху Маслянинского района Новосибирской области, где прожил семь лет, о чем и рассказывается в повести «Живу и помню».

Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР.

В 1960–1970-е годы работал на производстве, в комсомольских органах Новосибирской области, потом в Москве на ответственной работе в ЦК ВЛКСМ.

С 1977 г. жизнь И. М. Ильинского связана с профессиональной научно-исследовательской деятельностью. В течение 10 лет возглавлял Научно-исследовательский центр при Высшей комсомольской школе, ставший в тот период ведущим научным учреждением в стране по молодёжной проблематике. Сформулировал теоретические подходы и практические меры по реализации новой концепции государственной молодёжной политики в СССР. Он автор идеи, научный руководитель и соавтор проекта Закона СССР «Об общих началах государственной молодёжной

политики в СССР» (принят в 1991 г.). Вокруг идей и теоретических положений, выдвинутых И. М. Ильинским, сформировалась научная школа исследований молодёжных проблем. В последние годы его научные исследования связаны с развитием концепции высшего образования в условиях глобализации и новых рисков для человечества.

В 1994 г. избран ректором Института молодёжи, впоследствии ставшего Московским гуманитарным университетом. И. М. Ильинский создал первый в России факультет социальной работы, первый факультет рекламы. Вывел университет в число лучших вузов страны.

И. М. Ильинский — крупный организатор науки и высшего образования. Он президент Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области, президент Национального союза негосударственных вузов, директор Международного института ЮНЕСКО «Молодёжь за культуру мира и демократии». Председатель Совета по негосударственным образовательным учреждениям при Комитете Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике ФС РФ. Инициатор создания и президент Русского интеллектуального клуба. Организатор крупнейших международных научных конференций «Высшее образование для XXI века».

И. М. Ильинский — публицист, поэт, прозаик, автор сценариев нескольких телевизионных и радиоспектаклей (книги «Василий Алексеев». Сер. «ЖЗЛ», 1986; «Так живу, так люблю», 1998; «Стихи и песни», 2006; «Кредо», 2011). В 2005 г. возглавил Попечительский совет Бунинской премии — единственной литературной премии, учреждённой российскими вузами.

И. М. Ильинский отмечен высокими государственными наградами: орденами «За заслуги перед Отечеством» IV сте-

пени (2006), Дружбы (1996), Почёта (2001), медалями СССР и России. В 2011 г. И. М. Ильинский удостоен высшей награды правительства столицы — знака отличия «За заслуги перед Москвой».

Среди общественных наград — премия Ленинского комсомола в области науки (1991), высшая общественная награда России — Золотой почётный знак «Общественное признание» в номинации «Наука и образование» (2004), орден Ломоносова Национального комитета общественных наград (2006); Золотая медаль Н. Н. Моисеева «За заслуги в образовании и науке» (2002); знак Российской академии естественных наук «Рыцарь науки и искусств» (2000); медаль Е. Р. Дашковой «За служение свободе и просвещению» (2001); медаль «100 лет со дня рождения М. А. Шолохова» (2006) и др.

Оглавление

ЖИВУ И ПОМНЮ	5
ПРОЛОГ	7
Война	8
Блокадные картинки детской памяти	14
Ленинградская блокада в цифрах и фактах	21
Эвакуация	38
НА ПУТИ ИЗ БЛОКАДЫ	45
Финляндский вокзал: 23 июля 1942 года	46
Ладога.	49
В Сибирь!.	54
Станция Черепаново	64
ДЕРЕВНЯ ПЕТУШИХА	73
Зойка Кривая	79
Председатель Терехов	86
Всадник на белом коне	94
Петька Татарников.	106
Деревенские будни.	112
Коршун	127
Школьная учительница.	136
Без вести убитый	147
Беда за бедой.	156
Эхо колыванского бунта	169
Прощание с Петушихой	181
Новосибирский вокзал: 18 октября 1948 года	187
ЭПИЛОГ	191
Примечания	204
СТИХИ	207
Про войну	209
Блокада	210
Школа моя.	211
Сон	212

Зимой	213
Тайга	214
«Мирно село просыпается...»	216
Отчий дом	217
«Матаня»	218
«О чём я плачу в День Победы...»	222
«Без клятв, но с верою...»	222
«Чужого горя не бывает...»	222
«Да, я в челне...»	223
Мамина слеза	223
Пристань моя деревенская	224
«Мы»	224
Об авторе	226

Ильинский Игорь Михайлович

ЖИВУ И ПОМНЮ

Документальная повесть

Художник Алексей Томилин

Корректоры *Т. Л. Ожиганова, Н. М. Шешеня*

Техническое редактирование
и компьютерная верстка *Н. И. Луковой*

Подписано в печать 20.12.2013. Формат $60 \times 90 \frac{1}{16}$.
Тираж 1000 экз. Печ. л. 14,5. Изд. № 342. Заказ №

Издательство Московского гуманитарного университета
111395, Москва, ул. Юности, 5.